



Красногубая гостья
Глава I

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCXLI



Salamandra P.V.V.

КРАСНОГУБАЯ ГОСТЬЯ

**Русская вампирическая проза
XIX — первой половины XX в.**

Составление, предисловие и комментарии
С. Шаргородского

Том I

Salamandra P.V.V.

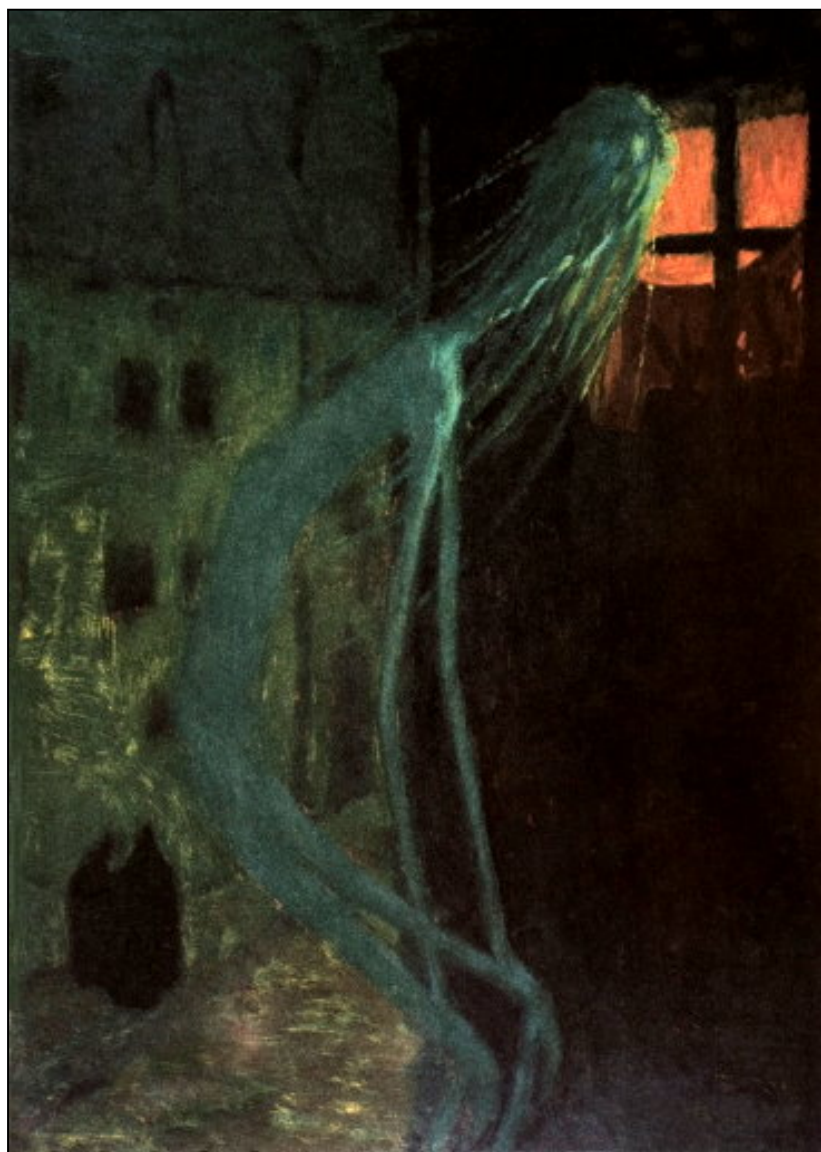
Красногубая гостья: Русская вампирическая проза XIX — первой половины XX в. Сост., предисл. и комм. С. Шаргородского. — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 230 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССХLI. Вампирская серия).

С первых десятилетий XIX века вампиры, упыри, вурдалаки и неупокойные мертвецы заполнили страницы русской прозы и поэзии. В издание вошло свыше тридцати произведений русской вампирической прозы XIX — первой половины XX века, в том числе многие затерянные рассказы и новеллы, пребывавшие до сегодняшнего дня в неизвестности как для читателей, так и для исследователей. Собранные в антологии «Красногубая гостья» произведения убедительно доказывают, что область русской литературной вампирологии много богаче, чем представляется даже подготовленным читателям и иным специалистам. Издание снабжено подробными комментариями.

© Authors, estate, 2018

© S. Shargorodsky, состав, предисл., коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., подг. текста, оформление, 2018



1819-2019

ВАМПИРСКАЯ СЕРИЯ

К

**200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПУБЛИКАЦИИ
«ВАМПИРА» Д. ПОЛИДОРИ**

От составителя



В 2013 г. в издательстве *Salamandra P.V.V.* нами была опубликована антология «Упырь на Фурштатской», включившая ряд забытых, а частью никогда не переиздававшихся произведений русской вампирической прозы.

Основным *raison d'être* этой маленькой антологии было введение в читательский оборот нескольких неизвестных текстов, и потому книжечка не призвана была служить сколько-нибудь представительным изданием.

Антология «Красногубая гостя» представляет собой существенно расширенное собрание русской вампирической прозы. В это собрание вошла вся русская часть материала «Упыря на Фурштатской», в целом же книга, издающаяся в двух томах, включает свыше тридцати произведений. Многие из них до сегодняшнего дня оставались в статусе «затерянных» и пребывали в безвестности не только для читателей, но и для исследователей.

Хотя русская вампирическая проза XIX — первой половины XX в. и количественно, и качественно безусловно уступает западной, она дала немало любопытных, а порой и блистательных страниц. Столь же бесспорно и то, что область эта много богаче, чем представляется даже подготовленным читателям и иным «специалистам» по литературной вампирологии.

Генезис русской вампирической прозы сравнительно хорошо изучен. Ее опередила поэзия: появление вампирической «Леноры» Г. Бюргера (опубл. 1774) породило в 1800-1810-х гг. многочисленные русские подражания от В. Жуковского и Н. Грамматина до А. Мещерского и П. Катенина. Значительную роль сыграла публикация в 1798 г. «Коринфской невесты» Гете, а затем и байронический вампиризм «Гяура» (1813). Не забудем и о накоплении критической массы фольклорно-этнографического материала, носителями которого в метрополии нередко выступали выходцы из юго-западных краев, соприкасавшиеся как с распространенными локальными,

так и — опосредованно — европейскими вампирическими верованиями и т. д. Локусом вампирической прозы, наряду с землями «западных славян», становится на первых порах Украина, где с упырскими поверьями сочетаются легенды об «исторических» вампирах наподобие черниговского полковника Дунина-Борковского. Вполне закономерно, что к Украине имели самое прямое отношение такие авторы вампирической прозы, как О. Сомов, Н. Гоголь, В. Даль, Г. Данилевский.

Окончательным триггером послужило, конечно, появление приписанного на первых порах Байрону «Вампира» Д. Полидори (1819). В последующие годы русские литераторы могли узнать о бешеной популярности в Париже мелодрамы Ш. Нодье, А. Жоффруа и Кармуша «Вампир» по мотивам новеллы Полидори, ознакомиться с такими новинками, как «Лорд Ратвен или Вам-пир» С. Берара (1820), «Смарра, или Демоны ночи» Ш. Нодье (1821) и его же «Инферналианой» (1822) — собранием коротких историй о вампирах, призраках и ревенантах.

Уже в 1821 г. О. Сомов переводит и читает в дружеском литературном кружке «Фрагмент» Байрона (начало авторской версии «Вампира» Полидори). В 1828 г. выходит в свет русский перевод новеллы Полидори; в том же году были опубликованы первые переводы из «Гузлы» П. Мериме (1827) и перевод его этюда «О вампиризме».

«На романтического, байронического “Вампира” ложились теперь отсветы “Гузлы”. Вампир как образ нес на себе черты “местного колорита”, с национальной, и притом славянской, окраской» — справедливо отмечает В. Вацуро*. Развивая эту мысль, можно заметить, что в русской вампирической прозе изначально присутствовали две линии — «европейская» (представленная, к примеру, А. Толстым, Тургеневым, Олшеври и др.) и фольклорно-«славянская» (Сомов, Гоголь, Даль, Ремизов и пр.).

Характерной чертой этой прозы было отсутствие очаровавшего Европу «задумчивого Вампира». Вся русская вампирическая проза, включая и «европейскую» линию, не знала героя-вампира, подобного лорду Ратвену Полидори, сэру Френсису Варни

* Вацуро В. Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации // Бездна: «Я» на границе страха и абсурда. СПб., 1992. (АРС: Российский журнал искусств. Тематический выпуск). С. 46. См. в этой статье сведения как о появлении «Вампира» Полидори, так и русского перевода.

из «Варни-вампира или Пиршества крови»* и графу Дракуле Б. Стокера. В России герой-вампир с самого начала подменяется «байроническим героем», наделяемым вампирическими чертами.

Возникновение русской вампирической прозы можно датировать 1833 г., когда в «Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду”» от 5 апреля был опубликован крошечный рассказ В. Олина «Вампир» — вероятно, первенец жанра. Утверждение это может показаться спорным, так как еще в 1831 г. в журнале «Телескоп» была опубликована повесть Н. Мельгунова «Кто он?» Но заданный в заглавии вопрос Мельгунов оставил открытым, только предполагая, что герой его мог с равным успехом быть вампиром, привидением, злым духом и т. п. В феврале 1833 г. вышла в свет первая часть смирдинского альманаха «Новоселье», в которой под псевдонимом «Порфирий Байский» были опубликованы «Киевские ведьмы» О. Сомова. Если Олин представлял «европейскую» линию и заимствовал сюжет из хроники Саксона Грамматика (XII-XIII в.), «Киевские ведьмы» воплощали вторую, фольклорно-«славянскую» линию и были стилизованы под «малороссийский» фольклор. Впрочем, истинно фольклорного в этом произведении, за исключением локации шабаша (Лысая гора в Киеве) и некоторых деталей антуража, было мало. И рецепт ведьминской мази, и картины шабаша у Сомова близко напоминали западноевропейские литературные, живописные и графические образцы, а основная сюжетная коллизия являлась откровенным подражанием «Коринфской невесте». Сомов бегло упоминает присутствующих на шабаше *упырей*, «на которых и посмотреть было страшно» — однако его ведьма Катруся (наряду с гоголевской панночкой), как давно подмечено исследователями, скорее походила на ламию. В противоположность этому, именно в рассказе Олина антагонист напрямую и недвусмысленно идентифицирован как вампир.

Вершинным достижением русской вампирической прозы XIX и, пожалуй, всего русского *вампирского текста* стала созданная в конце 1830-начале 1840-х гг. вампирическая «трилогия» А. К. Толстого («Семья вурдалака», «Встреча через триста лет», «Упырь»).

* Влиятельный в плане становления вампирического жанра английский готический роман Д. Раймера (иногда приписывается Т. Престу), публиковавшийся в выпусках в 1845-47 гг. и впервые изданный в виде книги в 1847 г.

Затем над вампирами сгущается почти непроглядная ночь, прерываемая лишь редкими проблесками наподобие обнаруженной нами новеллы неизвестного автора «Упырь на Фурштатской улице», «Призраков» И. Тургенева или «Упыря» В. Даля. «Чертовщина» вытесняется в сферу фольклорно-этнографических исследований, лубочной и паралубочной литературы, «святочного» рассказа и в лучшем случае поэзии.

Лишь на исходе реалистически-позитивистской эпохи, с распространением модернизма и отголосков европейского «оккультного возрождения» и возобновленным интересом к фантастическому, необычайному и мистическому — вампиры начинают возвращаться в русскую прозу. В первые годы XX в. русский читатель впервые знакомится с «Дракулой» Б. Стокера (1897). Предреволюционные годы ознаменованы появлением многочисленных вампирических произведений — о вампирах и упырях пишут Ф. Сологуб, Г. Чулков, А. Ремизов, Е. Нагродская, А. Амфитеатров, С. Ауслендер и другие, не говоря уже о виднейших поэтах-символистах начиная с А. Блока и К. Бальмонта (примечательно в эту эпоху широкое распространение вампирической метафоры в агитационных, публицистических и сатирических произведениях как социал-демократического, так и черносотенно-монархического лагерей). Модный «вампир» становится центральным образом рассказов и повестей, весьма косвенно связанных с вампирической тематикой*.

Наконец, в 1912 г. выходит в свет и единственный в русской литературе, вплоть до последних десятилетий XX в., сугубо вам-

* Можно упомянуть, к примеру, юмористический рассказ Н. Шебуева «Вампир» или историческое повествование В. Авенариуса «Вампир: (Быль екатерининских времен)». Рассказ Г. Богрова «Вампир: (Из путевых воспоминаний)» посвящен опровержению кровавого навета, педофильский рассказ черносотенца В. Беликовского «Вампир», осмеянный М. Горьким — случаю патологического влечения к крови; «Вампир» Ф. Николина и вовсе представляет собой омерзительную антисемитскую агитку. К слову, крайне симптоматично и не случайно это пристрастие как юдофобов всех мастей, так и нацистских коллаборантов — от О. Сомова и Н. Гоголя до В. Розанова, В. Крыжановской-Рочестер (вампирические главки «Царицы Хаатсу») и Л. Кормчего-Пирагиса («Вампир древнего собора») — к кровавым «вампирическим» темам (что характерно и для западных поклонников нацистов, как напр. Г. Г. Эверс или Д. Вирек). Произведения такого рода авторов, разумеется, в антологию не включались.

пирический роман «барона Олшеври»* «Вампиры: Из семейной хроники графов Дракула-Карди» (роман хотя и иронически обыгрывающий штампы жанра, но наиболее приближенный к западным образцам и достойный серьезного рассмотрения). Затем — по причинам, не требующим особого объяснения — вампирская волна сходит на нет; вплоть до последнего десятилетия XX в. можно говорить лишь о единичных произведениях и тех или иных «вампирических мотивах».

В предлагаемую антологию включены тексты, где действуют вампиры и их разновидности, а также вампирообразные мертвецы-ревенанты и живые, но функционально вампирические персонажи: вампирический текст, как можно видеть, охватывает весь спектр состояний от живого до мертвого и неупокойного. Не менее широк спектр воздействия вампира — от психологического гнета до постепенно ставшего традиционным в вампирической прозе кровопускания.

Данная книга никоим образом не претендует на исчерпывающую полноту. В сущности, это собрание малой прозы, так как в связи с объемом и неоднократными переизданиями в антологии не представлены наиболее известные русские вампирические повести и романы (А. Толстой, Тургенев, Олшеври). За исключением сказки «Упырь» из собрания А. Афанасьева и литературных сказок В. Даля, А. Ремизова и А. Рославлева, в антологию не включались сказки и былички. К сожалению, редкость и недоступность воспрепятствовали сплошному просмотру целого ряда периодических изданий, где содержатся, не исключено, и другие относящиеся к теме новеллы и рассказы.

В комментариях приведены основные сведения, касающиеся включенных в книгу произведений, и некоторые замечания по поводу их взаимосвязей и места в вампирической литературной традиции.

* Язвительный псевдоним («больше ври») до сих пор убедительно не расшифрован. В различных публикациях назывались имена Н. Сандрой-Гольдберг (переводчицы «Дракулы» в изд. 1912-13 гг.), образованной купчихи Молчановой-Хомзе и фантаста С. Соломина (Стечкина).

В. Олин

Вампир

Рассказ из хроники Саксо-грамматика

Два вождя или князя Нормандских поклялись друг другу быть ратными братьями, и клятва сия обязывала их не только подавать взаимную себе помощь во всех приключениях их бранного острова, но даже не переживать друг друга. *Асвейт* погиб первый в сражении, и *Асмонд*, его сотоварищ, верный их ужасному условию, хотел быть погребен живой в его гробнице. По обычаю севера, сия гробница была обширный погреб, в который, вместе с прахом усопшего, опускали его коней и военные трофеи. Когда обряд погребения был совершен, *Асмонд* сошел в последнее жилище своего ратного брата, и ни один взгляд, и ни одно движение не обнаружили в нем ни малейшего сожаления. Воины обоих вождей завалили вход в погреб одним из тех огромных камней, кои отличают еще до сих пор мавзолее храбрых Нормандцев, засыпали землею, и, простясь с своими вождями, рассеялись как стадо, потерявшее своего пастыря.

Годы прошли за годами; уже протекло сто лет, как однажды некоторый вождь Шведский прибыл в долину, получившую свое наименование от мавзолея двух соратных братьев. Выслушав историю их жизни, вождь сей решился открыть погреб, отчасти для того, что у народа сего почиталось подвигом храбрости презирать гнев героев, возмущая мир гробниц их; отчасти, чтобы завладеть добрыми копьями и другими оружиями, посредством коих завоевали они свою славу. Таким образом, он приказал своим воинам приступить к работе; но самый отважнейший из сих пиратов содрогнулся и отступил, когда, вместо безмолвия могилы они слышали во глубине сего жилища смерти ужасные крики, звук оружия, стук мечей, одним словом, весь шум смертельного боя между двумя единоборцами. Однако ж, несмотря на то, один молодой воин был опущен в погреб посредством веревки, которую вскоре потом вытянули обратно, чтобы узнать о причине сей странной тревоги; но кто-то другой занял место сего отважного молодого человека, и веревка вытащила *Асмонда*, одного из двух соратных братьев, пережившего другого. Он предстал пред взоры Шведов с мечом в руке, с разбитым вдребезги панцирем, и левая щека его была вся изодрана, как бы когтями хищной

птицы. Едва увидел он дневный свет, как с сим даром импровизации поэтической, столь свойственным древним воинам, он рассказал в стихах, что едва только навалили могильный камень на него и на *Асвейта*, как труп сего последнего вдруг ожил. Сей Вампир, жадный крови, сначала растерзал и пожрал коней; потом, с окровавленными челюстями устремился он на храброго вождя, давшего столь неоспоримое доказательство своей дружбы. Герой сей, несколько не уstraшенный, схватил свое оружие и защищался мужественно против *Асвейта* или лучше сказать, против демона, облекшегося в его тело. Сие ужасное единоборство продолжалось уже целый век, и *Асмонд*, в ту самую минуту, как открывали погреб, поверг на землю своего противника и вбил ему в спину кол, чтобы довести его, навсегда, до обыкновенной гробовой неподвижности. Прославив таким образом свое торжество, *Асмонд* упал мертвый перед изумленными Шведами, которые вынули из могилы *Асвейта* и сожгли его, бросив пепел на ветер, и положили на его место тело победителя, надеясь, что он уже будет отдыхать спокойно в сем уединенном мавзолее.

С. Минцлов

Женить

От края по край земли разбежались-раскинулись зеленые, высокие горы Македонии; сплошные, дремучие леса заливают их, селение там редкость — это немногочисленные, разбросанные в садах домики-сакли, сложенные из бурых известковых плит. Большая часть их в развалинах; турки и македонцы оставили во время войны свои старые гнезда и ушли искать новую долю и родину.

Брошенные сады разрослись, задичали; деревья стоят осыпанные сливами, фигами; больше всего миндаля — его целые десятины; из высокой травы глядят розы, мальвы и всевозможные цветы; редко кто прикасается к ним и к плодам.

Даже певчие птицы покинули эти места; их заменили стаи куропаток, тысячи перепелов да дикие кабаны.

Иногда в глухой лесной чаще, у входа в сумрачное ущелье, встает безмолвная сторожевая башня — привидение еще римских времен — или развалины замка с черными впадинами окон. Встречаются остатки загадочных, древних дорог, ведущих в неведомую глушь и глубь лесов, куда уже многие века не забредала человеческая нога... Кто их проводил и мостил, зачем, кто жил в башнях и замках — тайна!

Медведи, кабаны и лихорадка — вот главные владыки этих дебрей.

Путник, бредущий по промоинам, заменяющим здесь дороги, редкость; иногда он останавливается и прячется за куст или за ближайший могучий чинар: чудятся голоса и топот ног солдат пограничной стражи или комитов... но нет!.. это вереница желто-черных черепашек показывается навстречу и, тяжело ступая, направляется на водопой; впереди стучит самая большая, шествие замыкает наименьшая. Их здесь тысячи!

Горные цепи вздымаются одна за другой; волны их идут к югу; с последнего перевала открывается бирюзовое озеро Дойран, привольно разлегшееся в широкой долине; за ним, в синем тумане, опять встают горы — там уже Греция. А по эту сторону, вдоль берега, укрепленного набережной, тянутся извилины улиц мертвого города того же имени, что и озеро.

Крыши на домах его, большей частью двухэтажных, провалились; узкие улочки и площадь заросли бурьяном и кустами; в проломах окон горят красными огоньками яркие цветы гранат.

Кругом — ни души... одни ящерицы млеют на стенах, пригревшись на солнцепеке... полное безмолвие...

А подымешь вверх глаза — под самыми облаками на выступе скалы увидишь где-нибудь недвижимое, черное пятнышко: это чувар или чабан, бродящий со стокой (отарой) овец, стоит на обрыве и смотрит на мир, лежащий у ног его.

Когда сумерки начнут заполнять ущелья и поползут к вершинам гор, на том месте яркой звездой загорится костер; чуть поодаль от него тесными валами укладывается стока; густой запах баранты пропитывает воздух.

Вокруг огня размещаются на ужин усатые, суровые чувары; под стать ночи, все на них черное — штаны, куртки, расшитые тесьмой, круглые шапочки; на плечах у всех накинута белая войлочная чапана... Позади людей, тоже ожидая ужина, сереет кольцо из огромных лохматых собак.

Вызвездит небо, кончается «вечера», люди и псы ложатся ближе к костру, но сон не приходит сразу — начинаются неторопливые разговоры... Много чудного услышишь в такие ночи от чабанов!..

...Возвращался из Струмицы Душан Проданович в село под Джевджелией, да засиделся по дороге со знакомым в свратиште (постоялый двор) за фляшицей ракии и собрался уходить уже под вечер.

Уговаривали его заночевать, напоминали, что коль ночь захватит в лесу, будет худо: зверя встретит — это еще полбеды, а ведь по дорогам мертвецы — упыри — бродят, прохожих ждут, чтобы кровь у них высосать: от этих спастись можно разве чудом!

Лишнее выпил Душан, да и торопился к тому же; решил, что поспеет к сумеркам дойти до ближайшего села и наверстает потерянное время. Перекинул он за спину суму, взял свой штап — палку с комлем на конце — и пустился в путь.

Прошагал с час времени — вспомнил, что есть другая дорога — ближайшая: стоило только взять влево, перевалить хребет, а там, по ущелью, уже рукой подать до села.

Бодро свернул Душан в сторону, песню замурлыкал; радостно ему почему-то стало, весело! Перебрался по седловине через гору, спустился по каменной осыпи в ущелье; там уже тень сырая залегла; выше, на бледном небе, скалы пурпурно-золотым узором горели.

Лес становился гуще; ручей шумел и белел между крупными валунами; начали меркнуть снизу вверх зубцы гор; под столетними деревьями сгустились сумерки.

И вдруг Душан остановился, как над пропастью: вспомнил, что не должно было быть речки в знакомом ему ущелье!.. Холодок протек между лопатками.

Озирнулся он — и лес не тот: не редкий дубняк, а седостволый — чинаровый.

Повернулся Душан, заспешил назад. Вьется ущелье; не смолкает говорливый поток, нет и следа осыпи! Наконец, показалась открытая полоса ее; с трудом взобрался Душан на перевал и снова спустился: опять шумит речонка, опять чинаровый лес кругом...

Замерло сердце у Душана! Ночь заходила; надо было спешить, но куда броситься?

Начали проступать звезды: мерцало их очень мало и определить направление было нельзя.

Душан наугад пустился вниз по течению.

Стал всходить месяц; пепельно-синий свет залил вершины гор и все ущелье. Речка начала дымиться; среди деревьев расползался туман — будто мертвецы в саванах перебежали от ствола к стволу, от черной глыбы к другой... в ветвях над головой сверкали огненные глаза, тянулись посыпанные сине-зеленой чешуей длинные руки.

Спотыкаясь о камни, торопливо шел Душан дальше. Лес, наконец, как отсекло — впереди раскинулось темное поле; тропка сделалась шире, стала полого забирать в гору — значит, близко находилось селение.

Долго ли, коротко ли — завиделось впереди что-то обширное, белое; всмотрелся Душан — хаты рассыпались по скату горы. Позднее время стояло — ни огоньков не видать было, ни лаю собачьего не слышалось. Из последних сил прибавил хода Душан, почти побежал к селению.

Добрался до первого дома и прямо к окошку метнулся — хотел постучать в раму — ан нет ее, дыра в стене чернеет; сунул Душан в нее голову — нежитью дохнуло, гнилью... не имелось и двери. Душан поспешил к другой хате — и та стояла пустая, заброшенная, месяцем посеребренная. Такими же и остальные оказались — в давно брошенное селение человек попал!

Что тут будешь делать? Дальше идти сил нет, да и куда же? В лес спускаться ночевать — еще страшнее, холодно, сыро!.. Огляделся Душан, наметил домик получше других и заглянул в него.

И в нем от двери и окон оставались только дыры. В одно окошко свет месячный вливался: ни лавки, ни чурбана в горенке не было, как метлой была выметена; в дальнем углу печь большая стояла.

Перекрестился Душан, переступил через порог и за перегородку заглянул — там другая горенка, только поменьше, тоже совсем пустая, имелась.

Скинул Душан с плеч котомку, очертил с молитвой ножом между стеной и печью на плотном земляном полу круг и стал в нем устраиваться на ночь. Хотя и раскрыт был со всех сторон приют, а все же спокойнее, чем в лесу!

Сунул Душан сумку в изголовье, положил рядом с собой штап и нож, растянулся на полу и как потекла усталость из ног в землю... Приник немного погодя ухом — тишина везде нерушимая!.. месяц желтый прямо в лицо глядит, окно словно в воде на полу отражается... И как камень ко дну пошел Душан — уснул!

Обеспокоило что-то во сне сердце Душана... он открыл глаза.

Горенка по-прежнему задымлена месячным светом; у стены бугорок краснеет — большой кусок мяса как будто; нож блестит в него воткнутый...

Заморгал глазами Душан и сел.

— Сплю, что ли, я?.. — Пусто ведь было в хате, не лежало ничего у стены?

И только повел так в мыслях — похолодел весь: из-за угла печи фосфорные глаза на него уставились; показались густые усы и сизое широкое лицо.

С минуту вглядывался человек в Душана; на бритые щеки всползла усмешка.

— Проснулся, брате? — шипло выговорил. — Здорово же ты спал! Добро пожаловать; вставай, вечерять вместе будем!..

И засопел, причмокнул; потом повернулся, грузно пошел к мясу и сел.

— Иди же?.. — повторил.

У Душана отлегло от сердца: не тронул его незнакомец, вечерять зовет, значит, добрый человек!

Есть Душану не хотелось — все кости разломило от ночного похода... лег опять.

— Спасибо!.. — ответил. — Сыт я... притомился очень!..

Что-то проворчал человек, стал есть один... будто лошадь рядом ячмень хрустела.

Опять потонул — уснул Душан.

Во второй раз проснулся он.

В хате темней стало — месяц закатываться начал; между стеной и печью, шагах в двух расстояния, на корточках сидел тот же человек; руки его были вытянуты, он не то

шарил что-то, не то старался дотянуться до Душана; волчьи глаза освещали лицо — оно стало совсем черно-синее.

— Брате, подойти поближе ко мне?.. — пробормотал незнакомец. — Слово тебе скажу великое!..

Упал головой назад, на сумку, Душан и ничего не слышал и не видал больше...

Утром поздно поднялся он — солнце давно заливало светом хату. Потер он ладонями лицо и сразу вспомнил происшедшее.

Смотрит — нет ничего кругом, горенка пуста по-прежнему.

Поднялся Душан, заглянул в соседнюю — и там никого... в выбитое окно лиловые шишки бурьяна засматривают. Перекрестился Душан.

— Какой чудной сон пригрезился?!.. — подумал.

Вышел на улицу; радость охватила от тепла, от света, от благополучия. Огляделся он, узнал на синем небе свои далекие горы и зашагал вниз, по направлению к ним.

Под вечер Душан сидел за чашей вина на постоялом дворе в том селе, куда думал попасть накануне, и рассказывал, что с ним случилось.

Его слушали, дымя длинными черешневыми трубками, несколько сивоусых селяков.

— Не сон ты видал!.. — проговорил один, прижимая пальцем табак. — Упырь это к тебе являлся!.. Счастье твое, что догадался круг святой очертить: иначе лежать бы тебе сейчас в той хате покойником!..

Париж, 1926 г.

A. Poznabnev

Drobocek

Čizka

Рубил мужик осенним утром хворост. Связал тринадцать пучков и присел на пенек покурить. Свернул цыгарку, глядит — пучки развязаны, раскиданы.

Диву дался мужик, собрал хворост, связал сызнова и взялся за топор. Оглянулся — хворост опять разбросан.

— И какой здесь черт измывается, — осерчал мужик и вдруг видит, стоит под березой сивый солдат на деревянной ноге.

— Что, — спрашивает, — бранишься?

— Станешь браниться, когда черт в дело путается. Я вяжу, а он раскидывает.

Ухмыльнулся солдат и говорит:

— А кто тебе велит такое дурацкое дело делать, когда и без того можно барином жить?

Достал солдат из-за пазухи большой кошелек, раскрыл, показывает. Битком набит золотом.

— Сослужи мне службу — все твое.

— Ладно, давай сюда...

— погоди, сначала дай из твоего большого пальца на правой руке пососать крови.

Испугался мужик, не дает.

— Ну, так руби свой хворост, голодай всю жизнь, — сказал солдат и пошел прочь.

— погоди, — остановил мужик, — я согласен.

Обрадовался солдат, расцарапал ногтем мужику палец, три раза слизнул кровь, сплюнул в черный коробочек и спрятал его за пазуху.

— На, бери, — сказал и отдал мужику кошелек. — А ежели мало будет, приходи сюда. Видишь, вот камень. Ударь в него три раза левой пяткой, и получишь столько, сколько тебе потребуется...

Перевернулся после этого солдат вверх ногами и сгинул.

Зажил дровосек барином. Купил богатое имение, женился на красавице-барыне, завел большую дворню, разжирел, что боров.

Думали, гадали: откуда ему привалило такое богатство, не могли догадаться. А как пришло время дровосеку поми-

рать, поднялся в горнице, где он лежал, такой шум и гам, что все из нее повысыпали, как горох. И пока не скончался, никто к нему не вошел, боялись.

Первым осмелился войти дьячок-пьяница, а за ним и другие. Глядят, нет в горнице никого, только лежит середь пола, в кровавом пятне, обглоданный палец.

Огенистый Рупурь)

Сказка из собрания А. Н. Афанасьева

В некотором царстве, в некотором государстве был-жил старик со старухой; у них была дочь Маруся. В их деревне был обычай справлять праздник Андрея Первозванного: соберутся девки в одну избу, напекут пампушек и гуляют целую неделю, а то и больше. Вот дождались этого праздника, собрались девки, напекли-наварили что надо; вечером пришли парубки с сопелкою, принесли вина и началась пляска, гульба — дым коромыслом! Все девки хорошо пляшут, а Маруся лучше всех. Немного погода входит в избу такой мѡлодец — что на, поди! кровь с молоком! одет богато, чисто. «Здравствуйте, говорит, красные девицы!» — Здравствуй, добрый мѡлодец! «Гулянье вам!» — Милости просим гулять к нам! Сейчас вынул он кошель полон золота, послал за вином, за орехами, пряниками — разом все готово; начал угощать и девок и ребят, всех оделил. А пошел плясать — любо-дорого посмотреть! Больше всех полюбилась ему Маруся; так к ней и пристаёт. Наступило время по домам расходиться. Говорит этот мѡлодец: «Маруся! поди, проводи меня». Она вышла провожать его; он и говорит: «Маруся, сердце! хочешь ли я тебя замуж возьму?» — Коли бы взял, я бы с радостью пошла. Да ты отколя? «А вот из такого-то места, живу у купца за приказчика». Тут они попрощались и пошли всякий своей дорогою. Воротилась Маруся домой, мать ее спрашивает: «хорошо ли погуляла, дочка?» — Хорошо, матушка! да еще скажу тебе радость: был там со стороны добрый мѡлодец, собой красавец, и денег много; обещал взять меня замуж. «Слушай, Маруся: как пойдешь завтра к девкам, возьми с собой клубок ниток; станешь провожать его, в те поры накинь ему петельку на пуговицу и распускай потихоньку клубок, а после по этой нитке и сведишь, где он живет». На другой день пошла Маруся на вечерницу и захватила с собой клубок ниток. Опять пришел добрый мѡлодец: «здравствуй, Маруся!» — Здравствуй! Начались игры, пляски; он пуще прежнего льнет к Марусе, ни на шаг не отходит. Уж время и домой идти. «Маруся! говорит гость, проводи меня». Она вышла на улицу, стала с ним прощаться и тихонько накинула петельку на пуговицу; пошел он своею дорогою, а она стоит да клубок

распускает; весь распустила и побежала узнавать, где живет ее названный жених? Сначала нитка по дороге шла, после потянулась через заборы, через канавы и вывела Марусю прямо к церкви, к главным дверям. Маруся попробовала — двери заперты; пошла кругом церкви, отыскивала лестницу, поставила к окну и полезла посмотреть, что там делается? Влезла, глянула — а названный жених стоит у гроба да упокойника ест; в церкви тогда ночевало мертвое тело. Хотела было потихоньку, соскочить с лестницы, да с испугу не остереглась и стукнула; бежит домой — себя не помнит, все ей погоня чудится; еле жива прибежала! Поутру мать спрашивает: «что, Маруся, видела того молодца?» — Видела, матушка! — а что видела, того не рассказывает. Вечером сидит Маруся в раздумье: идти или нет на вечерницу? «Ступай, говорит мать, поиграй, пока молода!» Приходит она на вечерницу, а нечистый уже там. Опять начались игры, смехи, пляска; девки ничего не ведают! Стали по домам расходиться; говорит нечистый: «Маруся! поди, проводи меня». Она нейдет, боится. Тут все девки на нее накинулись: «что с тобой? или застыдилась? ступай, проводи добра молодца!» Нечего делать пошла — что Бог даст! Только вышли на улицу, он ее и спрашивает: «ты вчера к церкви ходила?» — Нет! «А видела, что я там делал?» — Нет! «Ну, завтра твой отец помрет!» Сказал и исчез. Вернулась Маруся домой грустна и невесела; поутру проснулась — отец мертвый лежит. Поплакали над ним и в гроб положили; вечером мать к попу поехала, а Маруся осталась: страшно ей одной дома; «дай, думает, пойду к подругам». Приходит, а нечистый там. «Здравствуй, Маруся! Что не весела?» спрашивают ее девки. — Какое веселье? отец помер. «Ах, бедная!» Все тужат об ней; тужит и он, проклятый, будто не его дело. Стали прощаться, по домам расходиться. «Маруся! говорит он, проводи меня». Она не хочет. «Что ты маленькая — что ли? чего боишься? проводи его!» пристают девки. Пошла провожать; вышли на улицу. «Скажи, Маруся, была ты у церкви?» — Нет! «А видела, что я делал?» — Нет! «Ну, завтра мать твоя помрет!» Сказал и исчез. Вернулась Маруся домой еще печальнее; переночева-

ла ночь, поутру проснулась — мать лежит мертвая. Целый день она проплакала, вот солнце село, кругом темнеть стало — боится Маруся одна оставаться; пошла к подругам. «Здравствуй! что с тобой? на тебе лица не видать!» говорят девки. — Уж какое мое веселье! Вчера отец помер, а сегодня мать. «Бедная, несчастная!» сожалеют ее все. Вот пришло время прощаться. «Маруся! проводи меня», говорит нечистый. Вышла провожать его. «Скажи, была ты у церкви?» — Нет! «А видела, что я делал?» — Нет! «Ну, завтра ввечеру сама помрешь!» Маруся переночевала с подругами, поутру встала и думает: что ей делать? Вспомнила, что у ней есть бабка — старая-старая, уж ослепла от долгих лет. «Пойду-ка я к ней, посоветуюсь». Отправилась к бабке. «Здравствуй, бабушка!» — Здравствуй, внучка! как Бог милует? что отец с матерью? «Померли, бабушка!» — и рассказала ей все, что с нею случилось. Старуха выслушала и говорит: «ох, горемычная ты моя! ступай скорей к попу, попроси его: коли ты помрешь, чтоб вырыли под порогом яму, да несли бы тебя из избы не в двери, а протащили б сквозь то отверстие; да еще попроси, чтоб похоронили тебя на перекрестке — там, где две дороги пересекаются». Пришла Маруся к попу, слезно заплакала и упросила его сделать все так, как бабушка научила; воротилась домой, купила гроб, легла в него — и тотчас же померла. Вот дали знать священнику; похоронил он сначала отца и мать Маруси, а потом и ее. Вынесли Марусю под порогом, схоронили на раздорожье.

В скором времени случилось одному боярскому сыну проезжать мимо Марусиной могилы; смотрит — а на той могиле растет чудный цветок, какого он никогда не видел. Говорит барич своему слуге: «поди, вырой мне тот цветок с корнем; привезем домой и посадим в горшок: пусть у нас цветет!» Вот вырыли цветок, привезли домой, посадили в муравленный горшок и поставили на окно. Начал цветок расти, красоваться. Раз как-то не поспалось слуге ночью; смотрит он на окно и видит — чудо совершилось: вдруг цветок зашатался, упал с ветки наземь — и обратился красной девицей; цветок был хорош, а девица лучше! Пошла

она по комнатам, достала себе разных напитков и кушаньев, напилась-наелась, ударилась об пол — сделалась по-прежнему цветком, поднялась на окно и села на веточку.

На другой день рассказал слуга баричу, какое чудо ему в ночи привиделось. «Ах, братец, что ж ты меня не разбудил? Нынешнюю ночь станем вдвоем караулить». Пришла ночь — они не спят, дожидаются. Ровно в двенадцать часов цветок начал шевелиться, с места на место перелетать, после упал наземь — и явилась красная девица; достала себе напитков и кушаньев и села ужинать. Барич выбежал, схватил ее за белые руки и повел в свою горницу; не может вдоволь на нее насмотреться, на красоту ее наглядеться. Наутро говорит отцу, матери: «позвольте мне жениться; я нашел себе невесту». Родители позволили. Маруся говорит: «я пойду за тебя только с тем уговором, чтобы четыре года в церковь не ходить». — Хорошо! Вот обвенчались, живут себе год и два, и прижили сына. Один раз наехали к ним гости; подгуляли, выпили, и стали хвалиться своими женами: у того хороша, у другого еще лучше. «Ну, как хотите, говорит хозяин, а лучше моей жены во всем свете нету!» — Хороша, да некрещена! — отвечают гости. «Как так?» — Да в церковь не ходит. Те речи показались мужу обидны; дождался воскресенья и велел жене наряжаться к обедне. «Знать ничего не хочу! Будь сейчас готова!» Собрались они и поехали в церковь; муж входит — ничего не видит, а онаглянула — сидит на окне нечистый: «а, так ты вот она! Вспомни-ка старое: была ты ночью у церкви?» — Нет! «А видела, что я там делал?» — Нет! — «Ну, завтра у тебя и муж и сын помрут!» Маруся прямо из церкви бросилась к своей старой бабушке. Та ей дала в одном пузырьке святой воды, а в другом живущей и сказала, как и что делать. На другой день померли у Маруси и муж и сын; а нечистый прилетел и спрашивает: «скажи, была у церкви?» — Была. «А видела, что я делал?» — Мертвого жрал! Сказала да как плеснет на него святой водою — он так прахом и рассыпался. После взбрызнула живущей водой мужа и сына — они тотчас ожили и с той поры не знали ни горя, ни разлуки, а жили все вместе долго и счастливо.

В. Даль

Упырь

Украинское предание

Отец Маруси был казак зажиточный, а мать ее добрая хозяйка, так они и жили хорошо; а как дочь была у них одним-одна, то они в ней души не слышали, баловали ее и одевали краше всех девок на селе. Марусе и всего-то был тринадцатый год; но когда она, бывало, в воскресенье выйдет погулять разодетая, как невеста, то уж к девчонкам не пристаёт, а все к большим девушкам, чтоб с ними скорее поровняться. И правду сказать, что скоро стали на нее все паробки заглядываться; а когда она еще немного подросла и сложилась, то все знали, что не только на селе, но и во всем повете не было красавицы против Маруси. Марусенька, рослая и статная, была и покрутлее других, и потоньше их: она и не глядела простой мужичкой, и немного было таких пышных девушек даже между богатыми хуторянками.

И, видно, Маруся сама знала, как она была хороша, потому что, гуляя с подругами, не давала, однако же, никому из паробков к себе приступить, а, влюбив их в себя, тешилась над ними, забавлялась и только дурачила. От этого и прозвали ее *гордой* Марусей и говорили, что она не пойдет за простого, хорошего человека, а разве только за паныча, в тонкой сукманке. Маруся отшучивалась, а все держалась против парней строго; но подруг своих, девок, не чуждалась и часто их обдаривала и наряжала; а уж убрать голову, заплести и положить вокруг косы ленты, заткнуть к вискам пучочки цветов — этого никто не умел сделать против Маруси, хоть она и не училась этому нигде, а так сама знала. Бывало, когда время такое, что никаких цветков нет, то достанет пучок старых сухих, что и смотреть не на что, либо желтеньких да лиловых неувядалок, или хоть просто пучочек алой калины, да как только уберет этим голову свою, то ровно на ней все расцветет и заиграет, и так она хороша, что ни одна девка не украсится против нее и самыми лучшими цветочками.

Пришла осень, и по обычаю от праздника Андрея Первозванного начались девичьи вечерницы; все собираются в одну избу, каждая приносит с собою что есть, пекут пампушки, вареники, пьют и едят, и веселятся. Собрались они, и Маруся с ними; напекли и наварили всего. Вечером при-

шли и парни, один со скрипичей, другой с сопелкой, и началась пляска и такая гульба, что дым коромыслом. А Маруся все больше особнячком себе, как ломливая гостья; смотрит она и шутит, мотается туда и сюда, а до нее не дотыкайся никто. Наконец упросили ее, что пошла плясать, да и то с тем уговором, чтобы парень не трогал ее, а плясал бы сам по себе, а она сама по себе; как пошла — то все загляделись на нее, не могли налюбоваться.

Вдруг входит в избу молодец, которого никто прежде тут не видал: и собой пригож, и одет так чисто и хорошо, как у самых богатых казаков редко дети одеваются, одна шапка смущатая чего стоит, пояс, чоботы, а платок шелковый, персидский. Поздоровался он со всеми, девушки сказали: «милости просим», он тотчас и достал кошелек с деньгами и посылает парней за медом, пивом, наливками, пряниками и орехами. Вот одна из девок вызвала брата своего, чтобы шел скорее за лакомствами, а тот, взяв деньги от чужого молодца, стоит да и вертит их промеж пальцев. «Что ж ты?» — а он и показывает, что, вместо четвертачка, чуженин дал-таки настоящий золотой червонец! Тот глянул: — «все одно, — говорит, — ничего, ступай, там сдадут; а не то хоть на все возьми, коли съедят, на здоровье!..» Люди поглядели на него, переглянулись да и притихли, таких-де богачей в нашем околотке не водилось!..

Пошло гулянье, пляска, и Маруся не отказывалась плясать с чуженином, а он всех угощает и потчует, а сам с нею с одною только и водится. Так он, видно, сразу полюбил Марусю, да и она на него ласковее смотрела, чем на Михалка и на других; а плясал он так, что все на него загляделись и решили, что один он только в ровни Марусе и годится. Пришла полночь, и гость говорит, что пора ему домой; взял он шапку, утер лицо шелковым платком и просит Марусю, чтоб она его проводила хоть до ворот. Она было призадумалась, да девки спровадили ее: «иди, говорят, отчего тебе такого хорошего человека не проводить?» Как только они вдвоем вышли, то он поцеловал Марусю и спросил ее: — «А пойдешь ли ты за меня?» — «Что ж! отвечала

она, — «вы, кажется, хороший человек, возьмете, так отчего не пойти?» Он поцеловал ее и ушел.

Воротившись, Маруся недолго посидела на вечернице, грустная, задумчивая, и никто не мог ее развеселить. Правда, что она не резва была и в прежнее время, а всегда держалась и пышно, и гордо, но все-таки она была теперь не та, что прежде; это заметили все, и потому, посмеявшись, в голос решили, что Маруся полюбила чуженина и теперь уж подавно никого не захочет знать из ровней своих; а гость этот должен быть богатый хutorянин, коли не сам дворянин, но никто не знал, откуда он взялся.

Михалка, о котором мы упомянули, слушал также все это молча, подгорюнившись еще больше, чем Маруся, и скоро ушел. Это был добрый и предобрый детина, но не так богатый, а простой и работающий, который давно уже любил гордую Марусю, не смея ей сказать этого, и не надеясь увидеть своего счастья, потому что она не глядела на него, и он видел, что услуги его ей докучают. Он, горько вздохнув, побрел домой, посидел еще с часок на заваленке, прислушиваясь издали, как на вечернице гуляют, да раздумывая о горе своем, а потом вошел в избу, где отец и мать его давно спали, и также завалился, горемычный, на свое место. «Не видать мне счастья своего, — подумал он: — а другой не возьму, сердце не примет; так и буду колотиться, лишь бы день за днем проходил...»

Маруся пришла домой, и мать расспросила ее, хорошо ли она погуляла и что у них там было. Маруся рассказала все, и про чужого человека, красавца и богатого, который ее сватал. «Кто ж он такой, — спросила мать: — и откуда?» — «Не знаю». — Так ты, доню, как пойдешь опять завтра вечером, верно, он будет, и расспроси его хорошенько обо всем.

На другой вечер, Маруся оделась и нарядилась опять как могла получше, и пришла на вечерницу, а вскоре пришел и вчерашний молодец. Михалка сердечный уж и не приходил больше, хоть его мать и посылала, а сказал: «не хочу, что я там буду делать? есть без меня». — Вот опять пошла гульба вчерашняя, опять молодец тряхнул деньгами, всех

употчивал лакомствами и плясал с Марусей на диво: она была так весела и игрива, что все ею любовались; а когда жених ее пошел домой и вызвал ее опять проводить его, то она спросила его, кто он, откуда и как его зовут? Он отвечал, что он панского роду, а не простого, что у него богатый хутор и много скота, а зовут его зовуткой: «какая тебе нужда, Петра ли ты полюбила, Максима ли? как бы ни звать, а за имя не разлюбить стать!» С тем и ушел.

Маруся прямо пошла домой и рассказала все матери, а та дала ей на другой вечер клубок пряжи и сказала: «когда будет уходить хуторянин твой и с тобою прощаться, то придержи ты ему нитку, а сама стой и разматывай клубок, покуда нитка больше не будет тянуться; тогда пойди осторожно по нитке следом за ним, и ты увидишь, по какой дороге и куда жених твой ушел».

На другой вечер все шло по-прежнему; девки насилу дождались тароватого чуженина, который всех их потчует всякими лакомствами, так хорошо пляшет и веселит всю вечерницу; он опять ухаживал более всех за Марусей и позвал ее за собой в проводы. Тут она сделала, что велела мать, и наконец, никому не сказав ни слова, пошла одна ночью, чтоб выследить своего хуторянина. Нитка недолго шла по улице, а, повернув по проулочкам, пошла через плетни, дворы, а там задами на край села; Маруся остановилась было, но, подумав, бойко пошла по ней дальше. «Неужто я своего суженого буду бояться? подумала она: — пойду, куда он, туда и я; теперь же темно, ему меня не увидать, а хоть бы и увидел — нужды нет; скажу, что хотела узнать, откуда и кто он». Но Маруся вскоре опять робко остановилась: нитка довела ее до кладбища, которое было без огорожи или канавы, тотчас за селом. «А что ж? подумала она: — коли он прошел тут, то и я пойду за ним; тут дедушка мой лежит и бабушка, — чего мне бояться?» Еще раз десяток шагнула Маруся, и нитке был конец: она уходила в землю. Чтоб увериться, так ли это, Маруся потянула за нитку: кто-то сильно дернул ее к себе в землю, оборвал в руках Маруси и отвечал на испуг Маруси не голосом, а синим огнем, который вспыхнул на могиле и погас. Бедная девка, не помня себя,

бросилась бежать, спотыкаясь впотьмах и падая, и наконец чуть живая добежала домой; тут она долго отдыхала и потихоньку вошла в хату.

Мать, однако ж, услышала ее и спросила: — Что, доня моя, был он?

— Был.

— Что ж?

— Обещается взять за себя.

— А по клубку следила?

— Следила, да недалеко; оборвал он нитку и бросил.

Наутро Маруся весь день ходила как сама не своя, с больной головой, и ничего не могла ни припомнить хорошенько, ни понять; но ей чудились во сне и наяву такие страсти, от которых в ней замирала кровь: будто видала она, когда вспыхнуло синее пламя, что делалось под землей, в могиле, и будто милый ее, страшно сказать... — грыз там покойника. Она все молчала, не смела ничего сказать; прошел вечер, и мать ее опять посылает: «иди, доня, да играй и веселись хорошенько, чтоб любо было и тебе, и другим». А мать, которая, бывало, часто журила Марусю за гордость и недоступность ее, боясь, чтоб не ослабилась она через это и чтоб не откинулись все женихи, рада-радешенька была, что дочь наконец хоть кого-нибудь нашла по себе, да еще богатого хуторянина.

Пошла дочь, и все опять до конца было то же; только она боялась идти провожать своего жениха и хотела было отказаться; но прочие девки все за него заступились и вы проводили ее почти силой: «Иди, чего ты, дура, боишься? с таким молодцом? да впервые, что ли, тебе провожать его?» Пошла. Он остановился, спросил опять: «пойдешь за меня?» Ей нечего больше говорить, отвечает: «пойду». — «А была ты вчера ночью на погосте?» — «Нет, не была». — «А видала там что-нибудь?» — «Нет, не видала ничего». — «За это завтра твой отец умрет», сказал он и пошел.

Страшно Марусе бедной, и тоска напала на нее смертная, — а деваться некуда: пришла домой и молчит. День настал — она бродит, ровно без ума, не знает, что Бог даст, что будет. Пришла рано по воду, приходит с ведрами домой от

колодца, — мать голосит, говорит, — отец вдруг помер. К вечеру его похоронили, а Маруся бедная, сидит, забившись подле печи, закрыла лицо руками, свету Божьего не видать. Настала ночь, и подружки за нею пришли, звать на вечерницу, чтоб хоть немного ее развеселить; она не хочет, так и мать говорит: «Поди, доню, что тебе тут делать! Хоть посиди да погляди на других...» Девки заговорили ее и потащили дружно силою за собой.

Маруся села подгорюнясь в углу, не стала ни петь, ни плясать, ни играть, а когда пришел жених ее и стал спрашивать, отчего она такая невеселая, то девушки отвечали за нее, что у нее у бедной сегодня отец умер. Маруся тряслась как лист; молодец пожалел, стал ее утешать, потчевал всех по-прежнему, пел и плясал, а уходя опять стал ласково просить, чтоб Маруся его проводила. Она тряхнула головой, но подружки подняли ее насильно и отдали в руки чуженина; Маруся вздрогнула, затряслась, но будто не своей волей молча пошла за ним.

— Что, Маруся? спросил он ее на дворе: — была ты третьего дня ночью на погосте, ходила за мною следом?

— Нет, не была.

— А видела там что-нибудь?

— Ничего не видала.

— За это у тебя завтра мать умрет. — И пошел сам своей дорогой.

Маруся упала, хотела кричать, но не смогла; у нее не было ни силы, ни голоса, ровно кто рукою зажал ей рот, так что она не могла дышать и обомлела. Девкам было не до нее: у них шло там свое веселье; а если кто и вспомнил про нее, так думал, что она пошла с молодцом либо ушла домой. Долго ли она лежала, и сама того не помнила, но очнувшись, она пошла домой, легла и всю ночь тихонько проплакала. На заре мать ее вдруг начала стонать и через час, ни с того, ни с сего отдала Богу душу. На бедную девку напал такой страх, что она уж не могла и плакать.

Что ж? живой не без места, мертвый не без могилы: похоронили и мать, больше делать было нечего. Осталась бедная Маруся одна, и так ей страшно стало в пустой избе,

что заперла она ее и пошла к соседям. Там она просидела до вечера; и опять пришли товарки ее, чтоб не дать ей загруститься и закручиниться, и жалеючи ее, против воли увели с собой. Она, бедная, совсем была без памяти, не опомнилась еще и не опозналась в сиротском одиночестве своем и сидела среди общего веселья, будто пришла с того света. Вдруг все радостно зашумели; Маруся вздрогнула — к ней подошел чуженин.

— Полно тужить, Маруся! — сказал он: — вот я опять к тебе пришел; тўгой поля не изъездишь, нудой моря не переплывешь! Пойдем плясать!

— Не троньте ее, бедную, — сказали девушки: — у нее сегодня мать умерла!

— Как? — сказал тот, удивившись этому новому горю и крепко жалея бедную Марусю: — вчера отец, а сегодня мать? Шутите вы?

— Нет; кто шутить станет, избави Бог!

— Бедная ты, сердечная моя! — сказал тот: — как же ты теперь жить станешь круглою сиротою, вести хозяйство, управлять домом? Тебе нужно искать доброго человека... Как вы рассудите, люди добрые, я на всех на вас пошлюсь, правду я говорю?

С этого слова пошли шутки; Маруся молчала на все, что ни говорили, хотела было уйти, но не смогла, а сидела, как прикованная; когда же ненавистный ей жених собрался идти, не поддаваясь ни на какие просьбы девушек остаться еще и погулять, то он опять ласково позвал ее в проводы. Маруся взглянула на него в первый раз во весь вечер, встала и пошла за ним.

— Теперь я ничего не боюсь, — подумала она: — пусть делает со мною, что хочет!

— Любишь ли ты меня, Маруся? спросил он ее.

— Нет, не люблю.

— А пойдешь ли за меня?

— Нет, не пойду.

— Стало быть, ты меня обманула?

— Ты первый меня обманул, а я потом.

— Ну а признайся, ходила ты за мною следом, была на погосте?

— Нет, не была.

— А видела там что-нибудь?

— Ничего не видала.

— Ну, так за это ты завтра к вечеру и сама помрешь.

— Дай Бог! сказала бедная Маруся: — дай Бог! Чего мне еще оставаться тут?

Но едва успела она это выговорить, как вдруг, и сама она не знала с чего, пришел ей на ум Михálка, которого она с таким презрением всегда от себя гоняла, а теперь и давненько уж не видала, потому что он не навязывался, а с того вечера, как в первый раз появился чуженин, ни разу ей не попадался на глаза.

«Что делать, бедный мой Михálка? подумала она: — видно, такая судьба наша, и твоя, и моя!» — И залилась горячими слезами.

Задумавшись, повесив голову и опустив обе руки, побрела она домой и, забывшись, вдруг остановилась перед порожней хатой своей, взглянула, вздрогнула, заломила руки и долго глядела на темные окошечки; потом она повернула назад и пришла ночевать к соседке. Та приняла ее чадолюбиво и долго еще утешала, не замечая, что бедная Маруся не слушала утешений этих и даже не слышала их.

Рано утром пошла она домой, посидела в одинокой избе своей, помолилась, напоила скотину, пошла на могилы отца и матери и поплакала там, воротилась домой и заперлась, будто ее нет. Она хотела умереть так, в одиночестве своем, веря словам страшного чуженина, который ей доселе пророчил одну правду; но вскоре взяла ее такая тоска и даже страх, что, вспомнив о слепой бабушке своей, жившей верстах в семи, она вышла, заложила волов и поехала к старухе, которую уж очень давно не видала, поехала — выплакать перед нею горе свое. Ей хотелось чего-нибудь родного, а тут она была одна, между чужими людьми и даже не смела подумать о бедном Михálке, который теперь также сделался для нее чужим...

— Здравствуй, бабушка!

— Здравствуй, доню; кто ты? Я что-то не признаю тебя по голосу...

— Ох, бабуся, и давно уж ты меня не слышала; я Маркушенкова Маруся, внучка твоя!

— Так здравствуй же, я рада тебе; что отец и мать, дочка моя?

— Худо, бабушка; оба перед Богом, померли...

— Перед Богом! — сказала слепая бабушка, перекрестившись: — так тут ничего худого нет; я и близко живу, да не слышала еще об этом; а вот тебя жаль; ты в девках еще?

— В девках, бабуся; ведь я еще молода!

— Знаю, помню, ты родилась в тот год, как у вас по дорогам стали канавы копать; годов семнадцать, чай, будет... Да, так, будет; когда я ослепла, так тебе был одиннадцатый годок. Ну, как же ты теперь живешь?

— А так живу, бабуся, что приехала к тебе умирать...

— Христос с тобой! Зачем так? Тебе ли умирать? Это наша доля, а вам жить!

Внучка, горько заплакав, рассказала бабушке все, что с нею было, и кончила тем, что ей теперь осталось немного часов до вечера жить.

— Ох, бабушка! погубила я и отца, и мать... Когда он, злодей мой, сказал мне, что и мой черед настал, то я обрадовалась, будто свет увидела; а теперь, как время подходит, так страшно!

— Ну, дитятко, — сказала бабушка: — прошлого не воротишь, нечего о нем и вспоминать; а пострадала ты довольно, и тебя журить — дела не поправить. Слушай же ты меня: любовник твой — это упырь; он встает из могилы, морит и ест людей... Простись теперь со мною и сейчас поезжай домой; там выбери хорошего надежного человека, которого бы мир послушался и не стал бы с ним спорить; подари ему пару волов своих — они тебе уж не нужны, — с тем, чтобы тебя, как умрешь, не выносили хоронить в двери, а подкопали бы порог и пронесли под порогом. Дом и все, что есть, отдай попу на церковь, и только!

— Бабушка, все, что говоришь ты, все сделаю, верно; да скажи же мне, что с этого будет?

— А вот видишь что, доню: когда есть человек на свете, который тебя по правде и всем сердцем любит, то он тебя найдет.

— Как найдет, бабушка, когда умру?

— Ну, умрешь так умрешь; нечего делать, и все мы умрем; а если нет такого человека, чтоб тебя, девушку, любил, — ну, тогда другое дело, и я ни в чем не властна.

Заплакала Маруся, простилась с бабушкой, а бабушка, как ни любила внучку свою, давно уже разучилась плакать, не прослезилась. Внучка поехала домой. Вот тут-то болело сердце ее по тому человеку, которого она, из одного только тщеславия, удалила от себя, тогда как он ее любил, да и сама она, если б только дала сердцу своему волю, полюбила б его давно... Прошлого не воротишь! «Нет, — подумала она: — такого человека нет, чтоб меня девушку любил... За что Михáлке любить меня?»

Приехав домой, она тотчас распорядилась, как ей было сказано, сославшись на слепую бабку свою, против которой никто не посмел спорить. Никто не верил однако ж, чтоб Марусе пришлось умереть — думали, что она с горя начала бредить... но к вечеру соседка заглянула в Марусину избу, когда еще и не смерклось, и увидела ее лежащую на постели. «Что она все лежит да убивается?» подумала добрая соседка и пошла, чтоб вызвать ее, ан Маруси бедной уж нет: она лежит себе и простывает...

Сошлись люди и не могли надивиться, что такое случилось с бедной семьей Маркушенка, что в три дня не стало ни отца, ни матери, ни дочки! Многие заплакали, глядя на красавицу, которая лежала, как живая, сложив сама заживо руки и приготовив платье, в котором ее хоронить... И подружки все собрались и крепко ее оплакали; молодые парни говорили, что такой девки не скоро наживешь... Но один был, который с неделю уже никому на глаза не показывался: либо сидел дома, либо работал в поле, а теперь смело пришел в хату Маруси, когда она уже лежала на лавке, одетая и убранная в цветах, как невеста, сел и сидел тут безвыходно до самых похорон. Когда уже другие петухи пропели, то он все еще сидел против Маруси и смотрел на ли-

цо ее, которое освещалось одною лампадкой, потом вдруг заплакал, простился с нею, снял у нее с пальца медный перстенок и надел себе на палец, а ей надел свое колечко и опять сложил ей по-прежнему руки.

Поутру пришли люди, подкопали порог в сенях и сделали такой спуск и подъем, чтоб можно было пронести гроб. Затем принесли и порядочный выкрашенный гроб, потому что Маруся оставляла достатку довольно. Собрались девки, парни и старики со старухами и, вынеся покойницу, как было сказано, поставили в церковь, отпели и похоронили. Никого не осталось из Маркушенкиной семьи, и Маруси не стало; избу продали, и в ней живет теперь чужой человек, а об Марусе там и помину нет...

Пришла весна, красная, веселая, и тот же молодой парень, который обручился с Марусей-покойницей, частенько по вечерам прихаживал на могилу ее и там молился. Заметив однажды, что из могилы этой вырастает какой-то особенный стебель, с гладкими длинными листьями, Михалка стал присматривать за ним и поливать его; но как кладбище не было огорожено и туда нередко заходила скотина, то Михалка решился выкопать куст этот с корнем и посадить его в своем садике. Сделав это, добрый Михалка, который вообще очень любил цветы и разводил их у себя много, ходил и смотрел за этим кустиком, как за глазом своим; и чем более вырастал цветок, тем более дивился ему садовник наш и радовался, потому что он никогда такой травы не видал; листья вышли длинные, неширокие, гладкие и ровные, посредине один стебель, довольно высокий, а на маковке его завязывался цветок; Михалка радовался ему, как кладу. Наконец, накануне Иванова дня, к вечеру, цветок этот расцвел — белый, большой и густомахровый; Михалка не мог им налюбоваться; сидел он при нем до поздней ночи, все на него глядел, а потом подумал: «теперь тут тепло, а мне хорошо и весело, — зачем пойду в избу?» лег в садике своем, под кленом, так что цветочек его стоял прямо перед ним и слегка кивал головкой от налетного ветра. Вдруг белые лепестки в головке цвета зашевелились, цветок опал и из него медленно поднялась, как в

тумане, рослая, статная девушка... Туман прояснился, и Михалка, не утерпев, вскочил и робко сказал: «Маруся!»

Она подошла к нему и, указывая на его колечко, сказала: «Кто обручился с мертвою, тот будь женихом и живой: ты мой спаситель, без тебя я погибла бы в вечных муках».

Сколько ни дивовались люди, что Маруся жива, а поглядев на нее, надо было поневоле поверить. Недолго откладывая дела, сыграна была свадьба, и говорят, не было на свете другой такой дружной и любовной четы, как добрый Михалка и красавица Маруся.

Не надейтесь, однако ж, девушки, на цветок этот: не любите чужих парней без ума и не обманывайте, не облыгайте никого!

А. Рамзгов

Унвурь

Не ведьма Дундучиха застилает на ночь стол скатертью, не ступой закостила наброжая — кроет землю белый снег, летят — падают хлопья надранными лохмотьями, воет, вьется вьюга, выбухает вихорь, метет метель-поземелица, закуделила.

Третий день и грустна и печальна коротает дни в серебряном тереме царевна Чучелка.

Третий день, как печален и грустен уехал царевич Коструб за Лукорье.

За морем Лукорье, там реки текут сытовые, берега там кисельные, источники сахарные, а *вырии*-птицы не умолкают круглый год.

Полпути не проехал царевич, занемог в дороге и помер. И в чужом краю его схоронили.

Вот среди ночи слышит царевна под окном кто-то кличет:

— Чучелка, Чучелка, отвори!

Вся зарделась царевна: узнала Коструба.

Думает царевна: «Это он, это жених, царевич вернулся с дороги!» Встала. Отворила.

— Бери свои белые платья, жемчуг. Я в чужом краю завоевал себе землю, мой подземный дворец краше Лукорья.

Надела Чучелка белые платья, жемчуг. Спешит на крыльцо.

А он ее за руку и на коня.

Взвился конь и помчались.

Мчатся. Мчится царевич с царевной. Страх змеей заползает на сердце: видит царевна под нею не конь, таких не бывает, а ветер.

Ветер-вихорь несет их сквозь темные леса, сквозь мхи и болота — ржавцы-болота в шары-бары — пустое место.

Поравнялись с церковью, повернули на кладбище.

Тут конь исчез.

И вдвоем остались они над могилой: царевич Коструб и царевна. А в могиле чернеет из-под снега дыра.

— Вот мои земли, там мой дворец, там мы отпразднуем свадьбу: дни будут вечны и пир наш веселый без печали, без слез... — полезай!

— Нет, — отвечает царевна, — я дороги не знаю, ты — наперед, я — за тобою.

Послушал царевич царевну, пропал в могиле.

И одна осталась царевна над черной дырой. Сняла с себя платье, — да в могилу.

— На же, тяни за собою. Вот белые платья, вот жемчуга! — и, сбросив в могилу все до сафьянных сапожков, заткнула дыру, да бежать без дороги по снегу, сама не знала куда.

Летела царевна, летела — вдалеке огонек мелькает — прытче бежит. Добежала, смотрит: изба — одна-одинокa изба стоит среди поля. Бросилась к двери, вломила в сени, да в горницу...

Мертвец на лавке лежит, больше нет никого, и светит свеча.

Царевна со страха на печку, забила в угол, сидит тихонько.

А там на кладбище, а там на могиле обманутый вышел из гроба царевич. Созвал Коструб мертвецов и полетел с мертвецами вслед по царевну.

Прилетел до избы, кричит через окно:

— Мертвец, отвори мертвецу! Будем с живым пир пировать!

Зашевелился мертвец: то ногой, то рукой поведет. А потом с лавки как встал и пошел, дверь отворил.

И нашло мертвецов полным-полна изба. Окружили печь, кличут царевну:

— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!

— У меня нет рубашки и сафьянных сапожков, принесите мне: там они на могиле! — говорит мертвецам царевна.

Посылает царевич мертвеца на могилу.

И вернулся мертвец, принес и рубашку и сапожки.

И опять кличут царевну.

А она им: то, говорит, рукавичек нет, то платка у нее нет, то пояса...

Но мертвецы ей все из могилы достали: все платья, весь жемчуг до последней крупинки.

Кличут царевну:

— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!

И надела царевна белые платья, жемчуг, — вышла. Вышла царевна. И в кругу мертвецов замерла.

А! как обрадован мертвый живому!

— Я тебе верен за гробом, — целовал царевну мертвый царевич и с поцелуем живая кровь убывала — теплая кровка текла в его холодные синие жилы.

Третьи петухи пропели — мертвецы разлетелись по темным могилам, там, в могилах, облизывали красные губы.

Не вернулась царевна в свой серебряный терем. Нашли Чучелку утром — белая, как белый снег, без единой кровинки, далеко в чистом поле в мертвецкой избе.

Вьется вьюга и воет, валит и, опрокидывая, руша, сбивает с ног. Разворотила, нелегкая, дубья — колодья, замела, дверь, засыпала окна — хоронит серебряный Чучелкин терем.

Холодна зима — белый снег.

1909 г.

А. Ремизов

Суженая

Три года играл молодец с девицей, три осени. Много было поговорено тайных слов. Вот как Марья любила Ивана!

Кто у нас теперь так любит!

Пришло время венцы надевать. И выдали Марью за другого, за Ивана не дали.

Живо старики справили дело. Попался зять советный, богатый, им и ладно. А ей не мед житье, почернела Марья, чернее осенней ночи, и лишь глаза горят, как свечи, надсадилась — холодом заморозилось сердце, не весела, не радостна пела она вечерами заунывные песни, тяжело было до смерти. Да стерпела и покорилась.

Три года прожила Марья с немилым, три осени. Стала у ней глотка болеть. И недолго она провалялась, померла на Кузьму-Демьяна. И похоронили Марью.

Эй, зима — морозы пришли, белым снегом покрыли могилу. И лежала Марья под белым снегом, не горели больше глаза, плотно были закрыты веки.

Вот ночью встала Марья из могилы, пошла к своему мужу.

Заградился Федор крестом, муж ее немилый.

— Да будь она проклятая баба! — и не пустил жену в дом.

Пошла Марья к отцу, к матери пошла.

— На кого ты рот разинула? — сказал отец.

— Куда ты, бес, бегаешь? — сказала мать.

Испугался отец, испугалась мать, не пустили дочь в избу.

Пошла Марья к крёстной матери.

— Ступай, грешная душа, куда знаешь, здесь тебе места нету! — выпроводила крёстная крестницу.

И осталась Марья одна — чужая на вольном свете, лишь небом покрытая.

«Пойду-ка я к моему старо-прежнему, — опомнилась Марья, — он меня примет!»

И пришла она под окно к Ивану. Сидит Иван у окна, образ пишет — Богородицу. Постучала она в окно. Разбудил Иван работника — ночное время — вышли во двор с топорами.

Работник, как увидал Марью, испугался, думал, съест его — да без оглядки бежать.

А она к Ивану:

— Возьми меня, я тебя не трону.

Обрадовался Иван, подошел к ней, ее обнял.

— Постой, — она говорит, — ты не прижимай меня крепко, мои косточки налегались!

И сама глядит — не наглядится, любит — не налюбуется. Вот как Марья любила Ивана!

Кто у нас теперь так любит!

Иван взял Марью в дом, никому ее не показывал, наряжал, кормил ее и поил. И жили так до Рождества вместе.

На Рождество пошли они в церковь. В церкви все смотрят на Марью, отец и мать и муж Федор и крёстная.

— Это будто моя дочка! — говорит мать.

— Да таки наша! — говорит отец.

Переговаривались между собою отец и мать и муж и крёстная.

А как обедня кончилась, подошла Марья к матери:

— Я ваша и есть, — сказала Марья, — помните, ночью к вам приходила, вы меня не пустили, и пошла я к старопрежнему моему, он меня и взял.

И признали все Марью и присудили ей: за старого мужа, за Федора не дали назад, а дали ее Ивану.

Эй весна, — снега растаяли, пошли зеленые всходы, и на Красную горку повенчали Ивана да Марью.

Тут моя сказка, тут моя повесть.

А. Ремизов

Родная

Жила-была одна девица, умер у ней отец, умерла и мать. Осталась одна Федосья, да без отца, без матери и спозналась с работником отцовским.

Хороший был работник-бурлак, крепко полюбил Федосью, и Федосья к нему привязалась, и жить бы им да жить, да люди-то говорить стали, — не хорошо.

Федосья и оробела.

Пошла Федосья к дяде, просит дядю и тетку.

— Возьмите, — говорит, — меня, примите к себе.

А дядя и тетка говорят:

— Покинь свою дружбу, так мы тебя возьмем.

На все готова Федосья: оробела девка.

— Покину, — говорит, — покину, возьмите только.

И приняли старики племянницу и стала Федосья жить в дядином доме: как дочь стала жить, а дружбы своей не покинула.

Пойдет на вечеринку, там украдкой и свидится с ним, где-нибудь в сторонке, украдкой, поговорит с ним, — поговорят, потужат.

И опять в люди вышло: узнал дядя, узнала и тетка, стали старики поругивать Федосью.

А тут этот работник-бурлак вдруг и помер.

— Слава Богу, — успокоился дядя, успокоилась тетка, — больше с ним знаться не будешь! — и стали старики подумывать, как бы племянницу замуж выдать, стали старики присматривать ей человека.

А Федосья прежде-то, как жив он был, работник-то, все таилась, робкая, скрывала от людей, а уж тут, — куда робь! — ничего не таит, никого не боится, и все по нем тоскует, все в уме его держит.

Пойдет на вечеринку, ни петь не поет, ни в игры не играет, а как сядет, одна сидит молча, и уж сама себе на могилу идти ладит, — к нему на могилу. А вернется с кладбища, спать ляжет, а в уме все одно, — о нем тоскует.

И стал он приходить к ней ночью.

Никто его не видит, ни дядя, ни тетка, одна она видит.

— Я умер, — сказал он ей, — да не в *за́боль*, иди за меня замуж.

И с той поры повеселела Федосья, веселая, не узнаешь ее, подвенечное платье себе шить принялась.

И на вечеринках не узнать ее.

Тоже и на вечеринки стал он приходить к ней.

Люди его не видят, одна она его видит.

— Я за него замуж пойду! — говорит Федосья подругам, смеется.

— Что ты, — говорят, — его, ведь, в живых нету.

— Нету, как же! Он ожил! — смеется Федосья.

Сшила себе Федосья подвенечное платье, в подвенечном платье невестой пришла на вечеринку. И он к ней пришел на вечеринку.

Никто его не видит, одна она его видит.

И они сговорились: она с вечеринки пойдет к нему в избу, где у отца он жил, а из избы вместе пойдут в церковь венчаться.

— Я нынче замуж пойду! — сказала подругам Федосья, смеется, и простилась, ушла домой.

Не слышал ни дядя, ни тетка, как вернулась племянница в дом, крепко старики спали. А поутру хватились, племянницы-то и нет. Где, где? — не знают.

Не знают, где и взять, и платья ее подвенечного нет.

А девки говорят:

— Сказывала, замуж пойдет.

Старики на кладбище, к могиле.

«Сказывала, замуж пойдет!»

А она на могиле, мертвая на его могиле лежит и платье ее подвенечное на кресте развешено.

Так за покойным дружкой и ушла, не сробела.

А. Ремизов

Поперечная

1.

Был один холостой парень и задумал жениться. А сватали на селе девицу, он на ней и женился. И тиха и смирна, глаз на мужа не подымет, будто ее и в доме нет, вот какая попалась жена Сергею.

Пришло время обедать, зовет Сергей к столу Настасью, а Настасья и голосу не подаст.

«Ишь, — подумал, — стыдливая какая!» — и сам уж вывел ее, усадил за стол.

На обед была каша. Ест Сергей, да похваливает, а Настасья и ложки в руку не возьмет, сидит, как села.

«Ишь, — подумал Сергей, — молодато как!» — да сам ей и ложку в руку дал, потчует.

Ложку взять Настасья взяла, и опять на стол положила, отвязала от креста уховёртку, да уховёрткой и ну хлебать кашу по крупинке.

То же самое случилось и на другой день; не ест по-людски Настасья да и только.

«И чем это она наедается, — думал себе Сергей, — без пищи человеку невозможно; ведь, так и с голоду помереть может!» — и еще больше принялся жену уговаривать бросить уховёртку и есть сытно.

Настасья ровно и не слышит, знай свое, уховёрткой своей управляется.

«Верно, ночью тайком наедается, когда люди спят, эка, еще неразумная!» — и положил Сергей караулить жену ночью: быть того не может, чтобы человек не ел ничего!

Лег Сергей спать, легла и Настасья. Притворился Сергей, будто спит, захрапел, а сам все примечает.

В самую полночь поднялась Настасья, слезла тихонько с кровати да из комнаты к двери. Выждал Сергей, пока за дверь выйдет, да за ней следом. А Настасья уж во двор, да за ворота, да на улицу. Сергей за ней следом.

Шла Настасья, шла, повернула на кладбище, и там прямо к свежей могиле.

Сергей за крест, схоронился, ждет, что-то будет. И видит, еще идет, так мужик бородатый, прошмыгнул среди крестов и тоже к могиле.

И уж вдвоем с Настасьей принялись они за могилу.

Разрыли они могилу, гроб вытащили, вынули из гроба покойника, раздели, и ну его есть. И всего-то до чиста, до косточек объели, и, когда и самой малой жилки не осталось, гроб, саван и кости снова зарыли в могилу и разошлись: Настасья в одну сторону, бородатый в другую.

Тут Сергей из-за креста вышел да скорее домой. Задами обогнал жену да в дом, да на кровать и опять притворился, будто спит, захрапел. Вернулась и Настасья, легла тихонько, и сладко и крепко заснула.

А Сергей — какой уж сон! — Сергей едва утра дождался.

Пришло время обедать, зовет Сергей к столу Настасью. Сели за стол. На обед была каша. Настасья опять за свою уховёртку, отвязала от креста уховёртку, и ну хлебать по крупинке.

Сергей ей ложку. Взяла она ложку, повертела, повертела, положила на стол, и уховёртку свою спрятала, так сидит. Сергей и не выдержал:

— Что ж ты, — говорит, — не ешь? Или мертвец тебе слаще?

А уж Настасья зверь зверем, — и! куда все девалось! — схватила Настасья со стола чашку, да в лицо ему как плеснет.

— Ну, — говорит, — коли узнал мою тайность, так будь же псом!

Тявкнул Сергей по-песьи, и стал псом-дворянгой.

Настасья за палку, да его палкой за дверь, и прогнала из дому вон.

2.

Выскочил Сергей псом-дворянгой и побежал. Бежит, куда глаза глядят, полает, полает и опять бежать. К вечеру

прибежал он в город, в мясную лавку и вскочил: проголодался больно.

Попался мясник добрый, накормил пса, а пес и не уходит, визжит, остаться просится. Сжалился мясник, оставил.

Переночевал пес ночь и за ночь ничего в лавке не сделал.

«Экий пес-то умница!» — подумал мясник и решил не гнать пса, при лавке держать, лавку караулить.

Приходит наутро в мясную булочник за говядиной, выбирает себе чего поприсяжней, а пес так и ластится. Приласкал его булочник, бросил хлеба кусок, подхватил пес хлеб, съел да от мясника за булочником и утек в пекарню.

И стал пес у булочника жить, лавку стеречь.

Приходит раз в пекарню за хлебом старуха. Накупила старуха всяких булок, отдает деньги. Стал булочник считать, и попался один какой-то гривенник негодящий, фальшивый, булочник и не берет. Старуха в спор: деньги правильные.

И видит булочник, не переспорить ему старуху, и говорит:

— Да у меня, — говорит, — пес и тот узнает, что твой гривенник негодящий! — и сейчас же пса покликнул, разложил деньги на стол кучкой, показывает псу, выбирай, мол, негодящую.

Посмотрел пес на деньги, понюхал, да и выпихнул лапкой этот самый гривенник.

«Ну и пес, — подумала старуха, — ой, что-то тут неладно!»

— Коли пес, так и оставайся тут, — шепнула старуха, — а коли человек, за мной поди! — диковинным показалось старухе, что пес, а узнаёт деньги.

И убежал пес за старухой из пекарни.

Пришла старуха домой, да к своей дочке:

— Привела, — говорит, — я пса, да уж и не знаю, верно ли, нет, что пес: узнаёт деньги!

Посмотрела старухина дочка, посмотрела на пса, взяла воды наговорной, псу в глаза и плеснула.

— Коли, — говорит, — ты пес, так и оставайся псом, а коли человек, обернись человеком!

Тявкнул пес, и стал опять Сергей Сергеем.

Рассказал Сергей о жене, о Настасье, и как ночью на кладбище Настасья покойника ела и с ней бородатый, и как псом его обернула.

— Знаю Настасью, — сказала старухина дочка, — она у тебя колдунья, вместе мы с ней колдовству учились у одной старухи. Поперечная была Настасья, все наперекор, все по-своему, все напротив, не слушалась старуху, ей старуха и положила наказание: ходить ей ночами на кладбище питаться мертвечиной. А хочешь жену поучить, дам я тебе наговорный состав, вернешься домой, плесни ей в лицо, увидишь, что́ будет.

Поблагодарил Сергей старухину дочку, забрал наговорную воду-состав и пошел себе домой человек человеком.

3.

Шел Сергей по дороге, — тут по дороге когда-то бежал он псом, лаял, — долго шел Сергей по дороге, а пришел домой, нет дома Настасьи. Сел Сергей на крыльцо, стал поджидать. И когда Настасья вернулась, он ей, ни мало не медля, наговорным составом в лицо и плеснул.

Заржала Настасья и обернулась в кобылу.

Тут Сергей запряг кобылу в сани да в лес, да в лесу целый воз дров навалил, да и обратно, домой ехать, и всю-то дорогу до самого дому стёгом стегал кобылу. И не раз, с неделю так ездил Сергей в лес за дровами и все стегал, всю истегал кобылу.

А она, — что со скотины возьмешь! — она только смотрит, сказать ничего не может, — скотина не скажет, только плачет.

И жалко стало Сергею, бросил он бить кобылу, пошел в город к той самой старухе просить у старухиной дочки наговорного состава обернуть кобылу в человека. Старухина

дочка дала наговорной воды, и вернулся Сергей домой не с пустыми руками.

А она — известно, скотина! — она только смотрит, сказать ничего не может, — скотина не скажет, только плачет.

И облил Сергей кобылу наговорным составом, и стала опять Настасья Настасьей. И уж с той поры забыла всякую мертвечину, кроткая, все ела, как люди.

И стали они жить по-хорошему, хорошо и согласно.

1912 г.

A. Penugolu

September

Лежал мертвец в могиле, никто его не трогал, лежал себе спокойно, тихо и смирно. Натрудился, видно, бедняга, и легко ему было в могиле. Темь, сырь, мертвечину еще не чуял, отлеживался, отсыпался после дней суетливых.

Случилось на селе о праздниках игрище, большой разгул и веселье. На людях, известно, всякому хочется отличиться, показать себя, отколоть коленце на удивленье, ну, кто во что, все пустились на выдумки.

А было три товарища — три приятеля, и сговорились приятели попугать сборище покойником: откопать мертвеца, довести мертвеца до дому, а потом втолкнуть его в комнату, то-то будет удивленье, — сговорились товарищи и отправились на кладбище.

На кладбище тихо, — кому туда на ночь дорога! — высмотрели приятели свежую могилу и закипела работа: живо снесли холмик, стали копать и уж скоро разрыли могилу, вытащили мертвеца из ямы.

Ничего, мертвец дался легко, двое взяли его под руки, третий сзади стал, чтобы ноги ему передвигать, и повели, так и пошли — мертвый и трое живых.

Идут они по дороге, — ничего, вошли в село, скоро и дом, вот удивят!

Те двое передних, что мертвеца под руки держат, ничего не замечают, а третий, который ноги переставлял, вдруг почувствовал, что ноги-то будто живые: мертвец уж сам понемножку пятится, все крепче, по-живому ступает ногами, а, значит, и весь оживет, оживет мертвец, будет беда, — да незаметно и утек.

Идут товарищи, ведут мертвеца — скоро, уж скоро дом, вот удивят! Ничего не замечают, а мертвец стал отходить, оживляться, сам уж свободно идет, ничего не замечают, на товарища думают, которого и след простыл, будто его рук дело, ловко им помогает.

Дальше да больше, чем ближе, тем больше, и ожил мертвец — у, какой недовольный!

Подвели его товарищи к дому, в сени вошли.

А там играют, там веселье — самый разгар, вот удивят!

— А Гришка-то сбежал, оробел, — хватились товарища, и самим стало страшно, думают, поскорее втолкнуть мертвеца, да и уходить, — Гришка сбежал!

Открыли дверь, — вот удивятся! — хотят втолкнуть мертвеца, а выпростать рук и не могут, тянет мертвец за собой.

А правда, в доме перепуг такой сделался — признали мертвеца — кто пал на землю, кто выскочил, кто в столбняке, как был, так и стал.

Тянет мертвец за собой, и как ни старались — рвутся, из сил выбиваются, держит мертвец, все тесней прижимает.

— Куда ж, — говорит, — вы, голубчики, от меня рветесь? Лежал я спокойно, насили-то от Бога покой получил, обеспокоили меня, а теперь побывайте со мной!

Совсем как все говорит, только смотрит совсем не по-нашему! Нет, не уйти от такого, не выпустит, — совсем не по-нашему!

Собралось все село смотреть, а эти несчастные уж и не рвутся, не отбиваются, упрашивают мертвеца, чтобы освободил их, выпростал руки.

А он только смотрит, крепко держит, ничего не рассказывает.

Стал народ полегоньку отрывать их от покойника, не тут-то, кричат не в голову, что больно им. Ну, и отступился народ. Отступился народ, говорят, что надо всех трех хоронить.

И видят несчастные, дело приходит к гибели, заплакали, сильней умолять мертвеца стали, чтобы освободил их.

А он только смотрит, еще крепче держит, ничего не рассказывает.

И два дня и две ночи не выпускал их мертвец, а на третий день ослабели мертвецкие руки, подкосились мертвецкие ноги, да их тело-то, руки их с мертвым, с телом мертвецким срослись — хоть руби, не оторваться!

Господь не прощает.

И начали они просить у соседей прощения и у родных. Простились с соседями, простились с родными. И повели их на кладбище с мертвецом закапывать.

И так и закопали равно вместе — того мертвеца не живого, а ЭТИХ ЖИВЫХ.

Здравствуй хозяин с хозяйшкой,
На долгие веки, на многие лета!

1912 г.

(H. H.)

Колдун-мертвец-убийца

Лет сто тому назад в казенной богатой деревне занемог отчаянно перед святками зажиточный крестьянин, пожилых лет, сложения крепкого и силы необыкновенной. В околотеке он слыл знахарем. Молодые люди рассказывали о нем чудеса: на всех свадьбах он занимал первое место и был везде предметом особенного уважения. Он был очень скуп, но во время болезни священник убедил или, как после рассказывали другие, почти принудил его дать в церковь за упокой души своей пятьдесят серебряных рублей. Отец Иван хвалился своим успехом, но весь причет был очень удивлен, и староста почти нехотя, качая головою, положил деньги в сундук.

На другой день больной умер. К вечерни на пятницу вынесли тело в церковь и отслужили панихиду. Все предстоявшие с ужасом заметили, что свеча у гроба три раза упала при гласе «со святыми упокой». Дьячок отказался даже от платы и не взялся читать псалтирь. Церковь заперли, и священник, взяв ключи, пошел домой.

Ночью приходит к его окну пономарь и, сотворив, по обычаю, молитву, спрашивает ключей и благословения звонить к заутрене. Отец Иван проворчал, что должно быть еще слишком рано, подал ему ключи и, разбудив сына своего, мальчика лет четырнадцати, начал собираться. Оделись, зажгли фонарь и пошли. Дорогою опять ворчал он про себя на пономаря, что мало звонили и что, верно, прихожане не соберутся к заутрене, когда и он, подле, не слышал звону. Подходят. Двери отворены, а пономаря нет. Входят – вдруг опрокидывается крышка с гроба, мертвец выскакивает, бросается на священника и начинает его терзать. «Бей в набат», — едва успел прокричать сей последний мальчику и начал громко стонать. Мальчик, без памяти от страха, уронив фонарь и погасив огонь, бросился было вон из церкви. Услышав отцовское приказание, он, однако же, опомнившись, побежал на колокольню и ударил в набат. Спросонок, не скоро еще начал собираться народ. Крик, шум, смятение. Где пожар? Об чем тревога? Кто звонит? Все снуют, все друг друга спрашивают, и никто отвечать не может. Мальчик увидел наконец людей, сбежал с колокольни и рас-

сказал происшедшее. Церковь отворена в самом деле, но в ней темнота и тишина. Ужас напал на всех; чуть все не разбежались. Насилу рассудительные уговорили прочих остаться и принесли огня. Между тем, некоторые посмелее стали подходить к дверям и робко кликать священника, но ответа никакого не было. Принесли огонь. Один храбрец пошел вперед со свечою. Все за ним, держат друг друга за полы и творят молитвы. Вдруг, откуда ни возьмись, пролетело что-то черное, либо шар, либо птица, взмахнуло либо крыльями, либо чем-то над самой свечою, и свеча погасла. Господи Боже мой! Какие страсти! Однако, скрепя сердце, опять пошли за огнем, но уже другие. Опять один, перекрестясь, повystупил вперед, как вдруг падает со всех ног, и свеча погасает. Что такое? Что такое? Под ноги ему подкатилось какое-то чудовище: он сам видел, падая, как оно побежало в сторону и сверкало глазами; он слышал даже, что оно как будто хохотало. И перед церковью показались многим уж разные звери и гады; и змеи шипели, и медведи ревели; совы летали, русалки смеялись; уж и черти начали плясать. Шум, крик, гам, ветер так и несется прямо в лицо и мешает идти вперед; а бабы-то сзади воют, и кричат и молят, чтоб не ходил народ в церковь, не сердил колдуна и дожидался бы хоть божьего света. Остановились все в раздумье, шагах в десяти от церкви. Прошло несколько минут. Некоторые, между тем, обозлились: ветер затих, чуды все скрылись, и гром закашился. Церковный староста, которому страшнее всех было оставить так церковь, придумал навязать пуки соломы на шесты, зажечь их и нести перед собою. Цельно, строем, пошли мужики вперед, упираясь назад, как волы. Входят, и что же увидели? Церковь со всех сторон осветилась. Страх и ужас. Опрокинутая крышка валяется на полу. Священник лежит истерзанный, волосы всклоченные, глаза раскрытые, весь в крови. Насилу отдохнули православные. Одна умная старуха объяснила, что, верно, проклятый услышал петуха и упал навзничь, не успев прибраться и справиться. Так и есть. Мир решил поставить караул у церкви, а в суд и к благочинному послал донесение о смертоубийстве, которое совершил мертвец.

Приехал суд и благочинный. Все дело найдено согласно с донесением. Началось следствие, и нового открыто только то, что пономарь не был у священника за ключами, а пришел к церкви с народом, когда услышал набат. Впрочем, во все это время, прибавил он, его что-то душило и он не мог ни рук поднять, ни шевельнуться в постели. Дьячок же был в отлучке и приехал уже после окончания следствия. Все прихожане дали сказку, что покойник, колдун и знакомый с нечистой силой, загрыз священника, вызванного голосом пономаря, в отмщение за то, что он перед смертью вынудил дать ему пятьдесят рублевиков. Целая волость подписались под сказкою благочинному, от коего и последовала следующая резолюция: «Нечестивого мертвеца извлечь из храма Божия крючьями, отнюдь не прикасаясь к нему обнаженными руками, и оттащить на распутие; там, изрыв на нечистом месте яму, повергнуть в оную скверное тело, положить ниц и прибить, для успокоения православных, осиновым колом, коего верх отесать, дабы наваждением бесовским не сделал он еще подобного глумления. Оскверненным же в таскании нечестивого мертвеца христианам, измывшись в реке добре, окропившись святою водою, поститься, кроме среды и пятка, каждый понедельник, в течение шести седмиц. О церкви же, очистя ее от осквернения, представить ему, благочинному, для освящения». Окончив дело, благочинный, взяв провожатых, спешил из села, опасался, чтоб мертвец в наступающий вечер не отместил ему за его благоразумное распоряжение.

В первый почтовый день пошли рапорты и к архиерею, и к губернатору о необыкновенном происшествии. Но высшее начальство, рассмотрев оба следствия, приказало возвратить оные с замечанием суду и благочинному за невнимание и легковерие. Приказано было нарядить с обеих сторон надежных и здравомыслящих чиновников, которые должны были исследовать, с кем пострадавший священник, например, был в ссоре, как вел себя при следствии сей неприятель, где находился и тому подобное. Как без всякого сомнения откроется, что не мертвец загрыз священника, то объяснить все дело в собрании прихожан в церк-

ви, а обруганное тело покойника вырыв, в присутствии благочинного отпеть, как следует, и погребсти на общем православном кладбище.

Что же открылось в новом следствии? Дьякон той церкви питал долгое время злобу на доброго и бескорыстного священника, потому что сей последний часто порицал его за алчность. Вновь оскорбленный им, он решился, во что бы ни стало, извести его и основал свой план на смерти крестьянина, слывшего колдуном. При записании в приход пятидесяти рублевиков, он сказал священнику: смотри, чтоб колдун не отмстил тебе за них. Услышав об его смерти, он тотчас отпросился у священника и выехал из села, взяв с собою железные грабли, наточенный нож и прочее ему нужное. Целый день скрывался в лесу, а ночью въехал в село и, оставя в скрытном месте лошадь, пошел к священнику; разбудил его, а сам отправился в церковь. Там, оставя двери открытыми, вынул труп и положил в стороне, а сам, в белой сорочке, лег в гроб и прикрыл себя слегка крышкою. При входе священника он бросился из гроба, зарезал и истерзал его; потом хотел было положить тело покойника в гроб, обмазав оное кровью, как услышал шум, бросил труп и чрез алтарные двери ушел, добрался до лошади и уехал из села.

Таково было его собственное признание пред новыми следователями, поймавшими его на слове, при пересылке его из епархиального города, куда он отправился было с заручною искать праздного священнического места.

Г. Данилевский

Мертвец-убийца

Это случилось в прошлом, XVIII веке, в царствование Екатерины II. В большом великорусском селе скончался скоропостижно зажиточный, одинокий крестьянин, слывший за знахаря и упыря. «Беда, — стали толковать крестьяне: — при жизни поедом всех ел; не даст покоя и после смерти». — Его положили в гроб, вынесли на ночь в церковь и выкопали для него яму на кладбище. Похороны ожидались «постные»: не только соседи жутко посматривали на опустевшую избу покойника, даже более храбрый церковный причт почесывался, собираясь его отпевать. А тут еще подошла непогода, затрещал мороз, загудела метель по задворкам и в соседнем дремучем лесу. Первый из причта не выдержал, очевидно струсил, дьякон. Пришел к священнику, стал проситься, накануне похорон в дальнее село, навестить умирающую тещу. «Как же ты едешь? — уперся поп: — кто же будет помогать при отпевании? нешто не знаешь, какая мошна? родичи чай вот как отблагодарят». — «Не могу, отче, ради Господа, отпусти».

Отпустил поп дьякона, остался с одним дьячком. Дьячок прозвонил до зари к заутренней, отпер церковь, вошел туда с попом и зажег свечи. Началась служба в пустой, холодной, старой церкви. Стужа ли замкнула все двери села, покойник ли пугал старух и стариков, только никто из прихожан не явился к заутренней.

Дьячок читает молитвы, напевает, пряча нос в шубейку, а сам, вторя священнику, возглашавшему из алтаря, все посматривает на мертвеца, лежавшего в гробу, под пеленой, среди церкви.

Заря еще не занималась. На дворе была непроглядная тьма. В окна похлестывал уносимый метелью снег, на колокольне что-то с ветром выло, и скрипели петли ставней и наружных дверей. Желтенькие, крохотные свечи чуть теплили у темных, древних образов.

И вдруг дьячку показалось, что убогий, потертый церковный покров шевельнулся на мертвеце. Причетник потер глаза, подумал: «С нами крестная сила!» — и опять стал читать по книге. А глаза так и тянет снова посмотреть на средину темной, холодной церкви.

Не вытерпел дьячок, глянул и видит: у мертвеца шевелится борода, будто он дышит, уставился на царские двери.

— Батюшка! — сказал дьячок с клироса, остановясь читать: — у нас неладно.

— Что там?

— Мертвец ожил, страшно мне.

— Полно, неразумный, молись о Господе! — ответил поп, продолжая службу.

Дьячок отвернулся, углубился в книгу. Долго ли он там читал, неизвестно. На дворе как будто стало светать.

«Ну, слава тебе, Боже, скоро крикнет петух», — подумал дьячок в ту минуту, когда священник готовился стать в царских вратах, читая отпуск с заутренней.

Дьячок глянул опять на середину церкви, вскрикнул в ужасе не своим голосом и лишился чувств...

Он ясно перед тем увидел, как потом рассказывал всему селу, что мертвец поднялся на одре, опростал руки изпод могильного покрова, посидел чуточку в гробу и стал вставать — бледный, посинелый, с страшною, трясущеюся бородой. Священник испуганно и безмолвно глядел на него из алтаря. Мертвец, с распростертыми руками, раскрыв рот, шел прямо к попу...

Когда на дворе совсем рассвело и народ, спохватясь долго отсутствующего причта, вошел в церковь — перед всеми предстала страшная картина.

Дьячок без памяти, с отнявшимся языком, лежал ниц у клироса. В царских вратах лежал навзничь бездыханный, с перегрызенным горлом, священник, а в гробу — неподвижный, бледный мертвец, с окровавленными губами и бородой.

Вопли и плач поднялись в селе. Убивалась попадья, чуть не умерла от горя и дьячиха. Но последнюю отлили водой; у дьячка вернулась речь, и с нею и память. Он все расска-

зал, как было.

— Упырь, людоед! — решили крестьяне миром: — это он загрыз батюшку. Не хоронить его на кладбище, а в лесу, и припечатать его не отпускной молитвой, а осиновым колом.

Отвезли знахаря-мертвеца в самую чащу леса, вырыли там другую яму, положили туда упыря и пробили его насквозь в грудь осиновым колом: теперь не будет портить сатана неповинных людей.

Священника похоронили с честью, попадью щедро одали, а церковь начало, за такой святотатственный казус, до новых распоряжений впредь, запечатало.

Остались прихожане без попа и без церкви. Ездили они, просили. Консистерия все собиралась произвести следствие. Благочинный брал посильные приношения, обещал уладить дело, но церковь не отпечатывали. Крестьяне собирались писать прошение, но не знали, куда подать.

Дело случайно дошло до сведения Екатерины. Слушая доклад генерал-прокурора, кн. Вяземского, о разных происшествиях, она обратила внимание на случай с упырем.

— Что же ты думаешь об этом? — спросила императрица докладчика.

— Казус необычный, — ответил генерал-прокурор, — он коренится в суевериях грубой черни.

— Хороши суеверия... перегрызенное горло! ведь священника-то тоже схоронили. Отложи, князь, это дело вон на тот ломберный стол и позови ко мне Степана Иваныча Шешковского хоть сегодня же вечером, перед оперой...

Явился к императрице знаменитый сыщик, глава и двигатель тайной экспедиции, Шешковский.

— Что благоугодно премудрой монархине? — спросил тайный советник и владимирский кавалер Степан Иванович, согнувшись у двери, с треуголом под мышкой и шпагой на боку.

— А вот, сударь, бумажка, прочти и скажи свое мнение.

Шешковский отошел с бумагой к окну, прочел ее и, подойдя к Екатерине, замер в ожидании ее решения.

— Ну, что? — спросила она: — любопытная история — поп, загрызенный мертвецом?

— Зело любопытная, — ответил сыщик: — и где же, в храме!

— То-то в храме. И консистория, запечатав церковь, предлагает дело предать воле Божьей, а прихожанам, освятив храм, поставить нового попа...

— Попущение Господне, за грехи, милосердая монархия... Как иначе и быть! — произнес, набожно подняв глаза, Шешковский.

— Ну, а я — грешный человек! — думаю, что здесь иное! — сказала императрица и, взяв перо, написала резолюцию на докладе: «Ехать в то село особо назначенному мною следователю и, тайно дознав истину, доложить лично мне».

Екатерина дала Шешковскому прочесть свое решение.

— Кого, ваше величество, изволите командировать? — спросил Степан Иваныч.

— Кому же, государь мой, и ехать, как не тебе? — ответила императрица. — Держи все в секрете, как здесь, так и в губернии, — и все мне доподлинно своею особой разузнай.

Шешковский поклонился еще ниже.

— Великая монархия! мое ли то дело? с бесами, прости, да с колдунами, я еще не ведался и не знаю с ними обихода... ведь они...

— Вот в том-то и дело, батюшка Степан Иваныч, что нынче век Дидерота и Руссо, а не царевны Софии и Никиты Пустосвята... Мне чудится, я предчувствую, убеждена, что здесь все всклепано на неповинных, хоть, по-твоему может и существующих бесов и упырей.

Шешковский, с именным повелением Екатерины в кармане, переодевшись беспоместным дворянином, полетел с

небольшую поклажей по назначению.

В губернии он оставил чемодан, с запасною форменною одеждой, на постоялом в уездном городке; сам переоделся вновь в скуфейку и рясу странника и пошел по пути к указанному селу. Верст за двадцать до него, — то было уж второе лето после события с священником и упырем, — его догнал обоз с хлебом.

— Куда едете? — В Овиново; а тебя Господь куда несет? — В Словки. — Далекий путь, спаси тебя Боже, — чай притомился? — Уж так-то, православные, ноженьки отбил. — Ну садись, подвезем.

Подвезли извозчики до Овинова, а за ним было Свиблово, то самое село, где случилась история в церкви. Везут странника мужики и толкуют о свибловских: всех знают, всех хвалят, мужики добрые, не раз хлебом у них торговали. — Что же, храм Божий есть у них? — Нетути, закрыли из-за Господней немилости, благочинный скоро обещает открыть, да дорожится. — Кто же будет попом? — Два дьякона ищут, ихний и овиновский. — Кого же хочет мир? — Овиновского, подбробнее будет; ихний — злюка и с женой живет не в ладах. Вон и его хата, на выгоне, под лесом, — выселился за реку — держит огород.

Странник встал у околицы, поблагодарил извозчиков, выждал вечера и зашел к дьякону. Хозяина не было дома, дьяконица пустила его в избу. Ночью странник расхворался. Лежит на полатах, охает, не может дальше идти. Возвратился дьякон, обругал жену: пускаешь всякую сволочь, еще помрет, придется на свой счет хоронить. Услышал эти речи странник, подозвал дьякона, отдал ему бедную свою кису, просит молиться за него, а не одужает — схоронить по христианскому обряду. Принял дьякон убогую сумму богомольца, говорит: ну, лежи, авось еще встанешь. День лежал больной, два, слова не выговорит, только охает потихоньку. Забыл о нем дьякон, возвратился раз ночью с огорода и сцепился с женой — ну ругаться и корить друг друга. — Да ты что? говорит дьяконица: ты убийца, злодей. — Какой я убийца, сякая ты, такая! я слуга Божий, второй на клиросе чин... а поможет благочинный, буду и первым!

— Убийца, ты перегрыз горло попу... сам признавался...

Далее странник ничего не мог расслышать. Хозяева вцепились друг в друга и подняли такую свалку, что хоть вон неси святых. К утру все утомилось, затихло. Странник днем объявил, что ему лучше, поблагодарил за хлеб-соль и пошел далее...

Возвратясь в город, он явился к воеводе, прося о себе доложить. Ему ответили, что его высокородие изволит кушать пунш и принять не может. Странник потребовал непромедлительного приема.

Его ввели к воеводе, восседавшему у самовара за пуншем.

— Кто ты, сякой-такой, и как смел беспокоить меня?

Странник вынул и показал именной указ императрицы.

В тот же день в Свиблово поскакала драгунская команда. К воеводе привезли дьякона, дьяконицу и дьячка.

Дьякон не узнал сперва в ассистенте воеводы гостившего у него странника. Шешковский облекся в форменный кафтан и во все регалии. Дьякон на допросе заперся во всем; долго его не выдавала и дьяконица. Но когда Шешковский назвал им себя и объявил дьяконице, что, хотя пытка более не практикуется, он, на свой страх и по личному убеждению, имеет нечто употребить, и велел принести это «нечто», то есть изрядную плеть, веревку и хомут, и напомнил ей слышанное странником, — баба все раскрыла: как дьякон, по злобе на попа, вместо поездки к теще, переждал в лесу, проник в церковь, лег в гроб, а мертвеца спрятал в складках пелены под одром, напугал дьячка и задушил, загрыз священника, а мертвецу выпачкал кровью рот и бороду и скрылся.

— Что скажешь на сию улику твоей жены? — спросил Шешковский.

Дьякон молчал.

— А ну, ваше высокородие, — подмигнул Степан Иванович воеводе.

Двери растворились: в соседней комнате к потолку был приправлен хомут и стоял «нарочито внушительного вида» добрый драгун с тройчатой плетью.

Дьякон упал в ноги Шешковскому и во всем покаялся.

Его осудили, наказали через палача в Свиблове и сослали в Сибирь. Церковь отпечатали, овиновского дьякона, женив предварительно на дочери загрызенного священника, посвятили в настоятели свибловского прихода. Местного благочинного расстригли и сослали на покаяние в Соловки.

— Ну, чтó, не я ли тебе говорила? — произнесла Екатерина, встретив Шешковского: — а ты, да и ты — предать воле Божьей, казус от суеверия грубой толпы. Мертвец-убийца! ну, может ли двигаться, а кольми паче еще злодействовать покойник, мертвец?

— Так, великая монархиня, так, мудрая и милостивая к нам мать! — ответил, низко кланяясь, Шешковский: — ты всех прозорливее, всех умней.

Он еще что-то говорил. Екатерина стала перебирать очередные бумаги, его не слушая. Грустная и презрительная улыбка играла на ее отуманившемся лице...

Р...

Упьюрь на Бурштатской
улице

(Было XIX столетия)

На одном из многолюдных петербургских публичных балов, я встретил, к величайшему моему удивлению, давнишнего моего знакомого и приятеля штаб-лекаря Ивана Петровича Т....

Иван Петрович человек вполне достойный уважения. Беспредельное человеколюбие, непоколебимое терпение и пламенная любовь к медицинской науке, которую он величает, когда находится в веселом расположении духа, *изящным искусством* — отличительные его качества. В продолжении десятимесячной осады Севастополя, он ни на минуту не покидал перевязочных пунктов, утверждая, что «разного рода бывают обстоятельства даже при самой простой ампутации и что медик не имеет права упускать ни единого случая, дающего повод к наблюдениям». Зная весьма хорошо, что Иван Петрович дорого ценит каждую минуту жизни, я, признаюсь, весьма удивился присутствию его на бале.

— Где это вы пропадали после Крымской кампании? спросил я, дружески пожимая ему руку.

— Делишки все справлял, не управишься разом. У меня, батюшка, такой каталог ампутаций составил, что хоть в любую библиотеку. К тому же по пути знакомых много поразвелось — там без руки, тут без ноги, все добрые приятели, знаете, вот я и позамешкался.

— Я вижу, что любовь ваша к науке не охладела...

— К искусству, почтеннейший, к *изящному искусству медицины*. Какое — охладела! пуще разгорелась от усиленной практики.

— Ну, а каким чудом вы на бал попали? спросил я, улыбаясь и осматривая довольно невежливо вовсе не бальную турнюру почтенного моего приятеля.

— Вот это уж подлинно ребячество, отвечал Иван Петрович, несколько сконфузясь. Захотелось испробовать, какое впечатление произведут на меня здешний блеск, шум, тары-бары и увеселительная музыка после нашего адского огня, трескотни и всех осадных удовольствий. Не поверите? прошлое показалось просто сон! Не верится, чтобы такие ужасы могли быть наяву. Чудно устроен, как подумаете,

человеческий *sensorium*! Иной раз запах какого-нибудь цветка так глубоко заляжет в памяти, что его оттуда и штыком не выжмешь, а другой раз самые ужасные происшествия промчатся в воспоминании, как китайские тени. Впрочем, на бал-то я не даром прокатился; *на ловца зверь бежит*, как гласит пословица. Пойдемте-ка, я вам чудный субъект покажу. Такого великолепного «*Chlorosis*» мне еще не случалось потрогать в продолжение долголетней практики.

Иван Петрович взял меня под руку и провел на другой конец залы; там, в группе молодых, свежих, румяных девушек он указал мне на предмет его удивления. И действительно, было чему подивиться! Вообразите себе девушку, как бы поднятую неизвестно по какой причине из гроба, и выставленную напоказ, в бальном платье и с цветами на голове. Лоб, щеки, губы, обнаженные плечи, все это было покрыто смертною бледностью, без малейшего признака жизни. Правильные черты лица казались высеченными из белого мрамора и светло-голубые, почти белые и потухшие глаза довершали иллюзию. Возле *призрачной* девушки сидела дородная, краснощекая барыня; вопиющий контраст цветущего здоровья и самых явных признаков разрушения.

— Что это такое? спросил я Ивана Петровича, невольно сделав гримасу.

— «*Chlorosis*»! почтеннейший, великолепнейший *chlorosis* в полном развитии.

— Зачем же возят на бал эту девушку?

— Это не мое дело, отвечал Иван Петрович, жадно всматриваясь в любопытный *субъект*; а вот хотелось бы попробовать над ней электромагнитный аппарат, с присоединением железной окиси... Ну, да это до вас не касается. А как вы думаете? смешно будет, если я предложу свои услуги?

Я улыбнулся.

— Что и говорить? продолжал, оживляясь, Иван Петрович, разумеется, смешно! Однако ж, как-нибудь да распознаю, уж доберусь до барышни! Вот не приди мне давеча в голову — странная мысль сравнить бальные впечатления с

севастопольскими, я не увидел бы любопытного субъекта. Следовательно, я действовал бессознательно, под влиянием вдохновения, а где есть вдохновение, там непременно возникает *изящное искусство*. Я говорю это в подтверждение известной вам мысли, почтеннейший!.. и Иван Петрович добродушно засмеялся.

Между тем, бал был в полном разгаре, множество прелестных девушек порхало в мазурке, точно разноцветные бабочки, во всю длину залы. — Огромный, сплошной круг в сто пятьдесят пар занимал всю окружность наподобие гигантской гирлянды, сплетенной без разбора, потому что тут самые враждебные цвета, розовый и красный, голубой и зеленый и так далее приходились сплошь да рядом. Увлекательные танцы, упоительная музыка и не менее упоительный женский говор, разнообразие щегольских нарядов, блистательное освещение, все это придавало общей картине очаровательный вид. Но вот чудо! девица-*призрак* нашла себе отважного кавалера и отплясывала также мазурку, не утрачивая на единый *гран*, по выражению Ивана Петровича, мертвенно-мраморной своей бледности.

Чудак мой приятель не спускал с нее глаз, хотя я всячески старался отвлечь его внимание — беспрестанно указывая на прелестнейшие и животрепещущие плечики, ротки, глазки, ножки и проч. и проч.

Наконец, упорство его мне надоело и я предоставил ему восхищаться сколько душе угодно — *патологическою* его находкою. В толпе, хлынувшей по всем направлениям по окончании мазурки, я потерял из виду и любознательного медика и страшный предмет его наблюдений.

С следующего дня я стал собираться навестить старинного своего приятеля; но собирался, как водится, на петербургский манер, т. е. откладывая со дня на день, и так как Иван Петрович шел по одной стезе, а я совершенно по противоположной тропинке, то мы могли бы прожить весь свой век в одном и том же городе и никогда не встретиться. — Однако же, месяц спустя, мне посчастливилось и я однажды, на повороте какой-то улицы, столкнулся почти нос с носом с Иваном Петровичем.

— Вот славно! проговорил он, отступая шаг назад, — гора с горой не встретится! Хорош же вы гусь! У меня занятый с три короба — а вы-то что поделяваете? Не грешно ли вам, что не навестите?

— Разумеется, грешно и стыдно, почтеннейший Иван Петрович, но во-первых вы мне не дали вашего адреса, а во-вторых... не слишком ли вы уж заняты, — прибавил я с лукавою улыбкою, — *патологическою* вашею девицею?

Добродушное лицо Ивана Петровича вдруг приняло какое-то особенно грустное выражение.

— Да, да, да, — теперь вспомнил, проговорил он, озираясь, — ведь вы присутствовали при первой нашей встрече. — Ну! это, любезнейший, целая курьезная история или, пожалуй, страшное, казусное дело, рассказывать его на перекрестках не приходится. — К тому мне некогда, я спешу на *ампутацию*, стариной тряхнуть захотелось; — а вот заходите ко мне уж, часу в девятом, я вам кой-что порасскажу. Есть над чем призадуматься.

Слова Ивана Петровича возбудили до крайности мое любопытство, — я знал, что он человек вовсе не романтический и не станет терять времени над какими-нибудь бреднями и пустяками. — Вот почему, не дождавшись даже назначенного срока, я отправился, вскоре после обеда, отыскивать по указанию квартиру Ивана Петровича. — Отыскать вечером, в Петербурге, квартиру небогатого холостяка, во все не безделица; однако ж мне на этот раз посчастливилось. Во-первых, я попал как раз на то крыльцо, на которое следовало; ощупью взошел до четвертого этажа; наудачу толкнулся в дверь по левую руку и очутился в кухне Ивана Петровича. — «Тут ли вход?» — спросил я у денщика, отворившего мне дверь. — «Тут, батюшка, тут, — отвечал старик, снимая с меня шубу — только извольте поосторожнее около плиты-то...»

— Тьфу ты пропасть!! подумал я, — родятся же на свет Божий бестолковые архитекторы!

Чувство досады еще более увеличилось, когда я увидел, что жилые комнаты светлы, достаточно просторны и высоки, словом, как быть следует.

Я застал Ивана Петровича в старом пальто, застегнутом как-то наискось, без галстука и без других необходимых принадлежностей — впрочем, на ногах у него были дамские туфли, обитые беличьим мехом под горноста́й.

Иван Петрович сидел спиной к дверям, за большим столом, отягощенным донельзя бумагами, брошюрами, инструментами, трубками, сигарами и пр. и пр. В то время, как я входил в комнату, Иван Петрович погружен был в созерцание какого-то окровавленного, черного, губчатого предмета, бережно положенного на чистую фаянсовую тарелку. — По этому случаю Иван Петрович вооружил даже свой коротенький, жирный нос очками, увеличительного, вероятно, свойства. — Это бы еще ничего. — Но вот что для меня вовсе непонятно: как мог Иван Петрович, делая наблюдения над этой отвратительной мертвечиной, прихлебывать из стакана чай, да еще закусывать баранками! — Решительно непонятно!

Иван Петрович принял меня, разумеется, весьма ласково — и тотчас угостил своей диковинкой.

— Как вы думаете, что это такое? — спросил он, надевая снова очки.

— Право, не знаю! отвечал я, отворачиваясь и зажимая нос.

— Всего только одна фаланга указательного пальца, произнес Иван Петрович. — Но что за чудо, какая игра природы? губчатый, огромный, грибовидный нарост на живом существе. — Развитие жизни растительной наперекор жизни органической...

Только тут Иван Петрович заметил, вероятно, кислую мою физиономию, потому что он поспешно прикрыл рукою свое грибовидное соко́вище. «Виноват, почтеннейший, виноват проговорил он, унося тарелку в другую комнату, все забываю, что вы не из нашей братии...»

— *Artista del bisturi*, — прибавил он смеясь.

Пока Иван Петрович нянчился с своей мертвечиной, я, рассматривая *кафарниумовидный* стол, обратил внимание на небольшую шеренгу аккуратно выставленных книжек, противно обычаем прочих товарищей, валявшихся как по-

пало. — Книги, выставленные аккуратно, оказались все без изъятия «психиатрического» содержания.

Иван Петрович, заметив, что я рассматриваю заглавия книг, провел ласково рукою по их корешкам, прибавив, неизвестно почему:

— Вот *канашки-то!* — я вам скажу, уж мое почтение!

— Но тут большею частью французские сочинения, заметил я с двусмысленною улыбкою.

— Нет, есть также два русских сочинения... впрочем, продолжал он, как бы отвечая на мою улыбку, в психиатрии первенство по всем правам принадлежит французским медикам. Пинель (Pinell) первый вступился за несчастных, одержимых страшным недугом помешательства. — До того времени их держали прикованными к стене, без всякой классификации, без различия пола и возраста. — Страх забирает при одной мысли, от каких ужасных бедствий Пинель избавил значительную, немаловажную часть страждущего человечества. — Да скажите мне на милость, продолжал Иван Петрович, постепенно воодушевляясь, что это у вас вышла нынче за мода, хаять и порочить французских писателей и ученых. Вишь, говорят: народ ветреный, не художественный!

Полноте, господа! Народ сам по себе — а писатели сами по себе! Голова всегда выше туловища. От того, что Гоголь родился в Малороссии из этого не следует, что все малороссы должны быть Гоголями! — Странные бывают у нас, можно сказать, повальные умственные болезни.

Оттого, что некоторым не нравятся рассказы Дюма — так и пиши пропало. Все французы, вишь, болтуны и вертопрахи! Вот как? И Декарт родоначальник аналитического мышления, и *Condillac*, и *Condorcet*, и *Dallembert*, и *Diderot*, и *Voltaire* — все это так — *comment vous portez vous!* Полноте, пожалуйста! да по медицинской части у французов, от *Ambroise Paré* до *Bichat* и Шомеля можно насчитать сотни светильников; — точно так же и в химии, в истории, и *np.* и *np.* Образумьтесь же, господа, ради Бога: посбавьте с себя спеси. — Нет слова, и у нас были, есть и будут люди с талантами и познаниями, люди вполне достойные, толь-

ко если кто-либо из них вздумал бы дать поручение на том свете, «*кланяться нашим*», то признайтесь, что тот, кто исполнит поручение, не наkostenяет себе шеи. — Что ж? и тут беда не велика! Молодость не порок; дойдет и до нас очередь, разумом разводить — других учить и тысячами считать писателей и ученых, — а теперь не худо бы поскромней! Так небось, нет! все норовят петушком! — Соберутся умницы наши, да друг другу и ну в пояс кланяться: «Почтеннейший Фома Фомич, ты-де семи пядей мудрец во лбу;» а тот отвечает: «Ох-ма! Акакий Иванович, про вашу премудрость вся, мол, Эвропия ведает». — Вот так-то и потешаются! А какой Эвропия ведает — ей еще не до наших умников. — Вот, например, хоть я, человек я простой, по-иностранному тары-бары вести не умею, — но понял, что мне следует выучиться читать и уразуметь на языках иностранных и признаюсь смело, откровенно, и не краснея, что многого бы не досчитался, если бы остался только при познании одного родного языка...

Тут я прервал речь Ивана Петровича.

— Позвольте, однако же, это вовсе ко мне не относится....

— А вот это и худо, продолжал Иван Петрович, взошедший в совершенный азарт, — в деле общественном *все до всех* должно касаться. — Отвиливать или отнекиваться не следует. Помогай как знаешь: кто словом, кто делом, а кто одним понуканьем — и такие нужны. — Когда каждый будет в действии, авось дело и пойдет вперед, — а теперь только кичимся, похваляемся, а проку еще не много. Вот еще в моду пошло — *взывать к правде*, выкликать ее наружу! Правда, не сразу дается! Прежде, чем о штукатурке говорить, выведи фундамент, прочное основание положи — нельзя же с крыши начинать? — Снизу-то, пожалуй, и не напустит правды — да такой, что тошно станет; а сверху правда не соскочит — стара штука, охота себе шею сломать! — На *правду* — есть кошечка, это гласное разбирательство за клевету — вот эта так и с чердака ее, пожалуй, добудет. А теперь нет поощрения! — Будь ты Кузьма бессребреник, али Иуда предатель, все равно, клевета безнаказанно взва-

лит тебе на плечи какую хочешь небылицу...

Тут Иван Петрович вдруг круто остановился, как строптивый конь, упираясь четырьмя ногами в землю.

— *Attendez-с*, продолжал он после минутного молчания; рысачок закусил удила, не на ту дорогу попал. Этак мы, пожалуй, и весь вечер проплутаем и не доберемся до казусного дела....

Тут я прервал его.

— Позвольте прежде попросить у вас пояснений насчет *психиатрической* шеренги, — сказал я, указывая на книги.

— Они прикосновенны к делу, отвечал насупившись почтенный медик. — Много тут полезных и глубоких изысканий; много тут добросовестных трудов, говорил Иван Петрович, указывая на книги, — хитро придумал *Эсквироль* для каждого вида болезни особое название; но что такое, в сущности, страшный недуг помешательства? где он зарождается? отчего он имеет свойство поражать иногда только одну, отдельную группу мозговых отправления, оставляя разум по прочим отправлениям в совершенно нормальном состоянии? Все это тайна, глубокая, непроницаемая тайна!! Однако ж, вы не диссертации пришли слушать... *Фока* — *шкот* предпочтеннейший! воскликнул Иван Петрович, снабди-ка нас *горяченьким*.

Старик *Фока* немедленно явился с стаканами горячего чаю; мы закурили сигары; я расположился на диван; Иван Петрович сел против меня по-*наполеоновски* (верхом на стул) и начал свое повествование:

— Тем часом, как вы предательски отретировались, оставив меня на произвол собственным моим силам, я решил сделать ближайшую рекогносцировку; посредством искусного маневра, я очутился как раз подле стула дородной, краснощекой барыни, помните, которая вас поразила как вопиющий контраст, и вскоре я узнал из разговоров с ее соседкою, что предмет моих наблюдений ни менее, ни более как *родное ее детище*! Я ушам своим не верил! И тип другой, и кровь другая... то есть ни малейшего признака какого-либо сходства! Вот я стою и все думаю, как бы мне познакомиться с матушкой, пока дочка танцует мазурку.

Вдруг, чувствую, что кто-то меня сильно толкнул, наступил мне на ногу, и вдобавок зацепил саблею. Я быстро обернулся с самыми неприязненными намерениями, но тотчас же пришел в умиление, узнав в виновнике бывшего моего полкового командира Карла Карловича Б..., с которым мы не видались лет пятнадцать, коли не более. Карл Карлович, который никогда и ни перед кем не извинялся, даже если бы ему случилось наткнуться на королеву великобританскую, отступил уже два шага и подобрав саблю и покручивая ус, ожидал моих упреков; но тотчас же и его лицо прояснилось и он дружески протянул мне обе руки.

— Ба, ба, ба! Иван Петрович! вот сюрприз самый неожиданнейший! самый неприятнейший! Неслыханно *рад!* и как это вы сюда *попадали?*

Я также рад был встрече, потому что Карл Карлович действительно был и есть благороднейший человек, хотя и слыл всегда за ежового командира, по случаю чересчур немецкой аккуратности.

— Погодите немного, Иван Петрович, я только скажу *пару слов* моей Авдотье Федотовне...

— Да ее не видать здесь, заметил я.

— Как *нет* здесь, сказал, улыбаясь, Карл Карлович, — я к ней и пробирался, когда вас толкнул.

Тут Карл Карлович указал мне на известную уже вам дородную барыню.

— А это кто? посмотрите, проговорил он весело; — что, не узнали, небось?

Фигура моя имела весьма забавное выражение вероятно, потому что и Карл Карлович, и жена его, и даже соседка ее весьма долго смеялись.

Вот какие бывают, почтеннейший, стечения обстоятельств! Не думал, не гадал и как раз на все напал.

Карл Карлович предлагал было жене своей поужинать во время мазурки, но та не согласилась, говорит: Анюточки подожду. Вот мы и отправились с генералом в буфет, сели в сторонку, он спросил себе чаю, а я тотчас же приступил к делу.

— Что, Карл Карлович, спросил я, — как вы насчет медицины — прежнего мнения, что ли?

Генерал посмотрел мне на жгуты, на шитье мундира, на кресты и сказал, улыбаясь:

— Вы, кажется, в чины пошли: признаюсь, что я немного сбился насчет ваших знаков *отличительных*, так пожалуй вы еще *обижаться* будете; однако ж все равно, я *буду* правду говорить. *Ножевая* медицина (хирургия) дело хорошее; а стекляночная медицина — никуда *негодна*.

— Жаль, что вы такого невыгодного мнения о медицине, Карл Карлович, сказал я довольно серьезным тоном.

— А что? спросил он с удивлением.

— А то, что дочь ваша требует немедленного, серьезно-го, энергетического медицинского пособия!

Карл Карлович схватил меня за руку и, понизив голос, проговорил с большим волнением:

— Так вы видели Анюту, — бедная девушка! Что тут делать? Божья воля! Разумеется, призывали докторов и теперь ездят, да проку мало? Вот если бы дело *шел* до операции, это *хорошо*; тотчас отрежут, выправят, заново поставят. А когда *внутренностью* действовать, уж все не то. Дают пилюли, порошки, а бедняжка вот второй год как *чахнет*...

— То-то и есть, что не *чахнет*, — тут нет чахоточных признаков.

— Называйте как хотите по вашему, отвечал генерал, махнув рукой, а я вижу, что дочь у меня совсем пропадает.

— Позвольте мне попробовать? Я не выдаю себя за чудо-знахаря, но, авось, Бог милостив.

— Ох! ох! заметил Карл Карлович, покачав головою; — русский все на авось и на милость Божию рассчитывает! Впрочем, вы для нас не чужой человек, побывайте, попробуйте; только я вас *предупреждать* должен, что дочь моя веры не имеет в лекарства и взяла даже с нас обещание, что мы <ее> более не будем мучить новыми опытами.

— Будьте спокойны, я уж как-нибудь да приноруюсь.

Тем мы и покончили; решено было, что я явлюсь в дом генерала в качестве старинного подчиненного.

Для уяснения всего дела, — а дело весьма казусное, как увидите, — все эти подробности необходимы, потому что среда, в которой живет пациент, характер, даже образ мыслей, с которыми он находится в беспрестанных сношениях, часто имеют большое влияние на ход и развитие болезни, разумеется, болезни продолжительной или хронической.

Два дня спустя (после вышеупомянутого разговора) я отправился в двенадцать часов утром, по указанию Карла Карловича, на Фурштатскую и отыскав старинный, деревянный, впрочем, довольно уютный дом, я наконец проник в желанную *фортецию*.

Авдотья Федотовна приняла меня весьма ласково, как истая русская, московская барыня, утверждая, что она меня на бале не видала, но что если бы видала, то непременно сейчас же бы узнала... потому что она на добрых людей памятлива, и что кто удостоил ее хлеба-соли откусать, так тот ее гость дорогой, и что гость Божье благословение и пр. и пр. Очевидно, что если Авдотья Федотовна больно потолстела, то это не от запаса слов; они у нее за пазухой не держались! Впрочем, лишь только муж ее объяснил ей вполголоса (дочь еще не выходила из своей комнаты) цель моего посещения, то бедная старуха тотчас же приумолкла и начала тихо плакать, всхлипывая и приговаривая: «Ох! моя милая! голубушка; а уж какая была хорошенькая! кровь с молоком». Не успела старушка вымолвить этих слов, как дверь отворилась и показалась Анна Карловна.

Вы знаете, что я порядком обстрелян насчет видоизменений человечества, но должен сознаться, что у меня мурашки пробежали по коже, увидев днем несчастную девушку. Она вас и вечером поразила, но это все не то — там свежи, но утром, в белом пеньюаре или халате, не знаю, как это называется, без всякого убранства, просто страшно; ну, ходячая статуя да и только.

Авдотья Федотовна ловко скрыла слезы, а Карл Карлович пошел навстречу дочери, поцеловал ее в лоб и, нежно обняв рукою, подвел ко мне.

— Ты, пожалуйста, Анюта, не подумай, что Иван Петрович навестил нас как медик; нет, это старый приятель, мы

вместе служили, ты еще была ребенок совсем. Полюби его, он человек *совсем* добрый.

Я поклонился. Анна Карловна недоверчиво посмотрела на меня, однако отвечала довольно приветливо, но каким-то унылым, как бы надтреснутым голосом:

— Очень рада познакомиться; папа так часто вспоминает о прежних своих сослуживцах, что поневоле их полюбишь.

Первый визит я посвятил только общим наблюдениям и старался всячески изгладить в мыслях Анны Карловны идею о медицинском характере моего посещения. С этой целью я говорил предпочтительно об интересах общечеловеческих, *гуманных*, как выражаются еще некоторые, и не раз замечал с удовольствием, что девушка не только что следила за ходом разговора, но и сочувствовала некоторым выраженным мною мыслям. Это дело немаловажное: в хронических и в нервных болезнях, медик прежде всего должен приобрести нравственное влияние над своим пациентом. Другой результат первого моего визита, было подтверждение в уме моем давнишнего мнения, а именно: что сводные браки (*les mariages mixtes*), как я называю, то есть браки, в которых супруги различных национальностей, или различного вероисповедания, имеют иногда последствием производить на свет или *ультра-фанатиков*, как в религиозном отношении, так и в отношении идеи о национальности, или людей совершенно равнодушных и в том и в другом отношении. Впрочем, в таком только случае, разумеется, когда дети воспитываются дома, на глазах родителей и сами имеют пред глазами беспрестанные столкновенья и недоразумения, происходящие от различия воззрений на важные, коренные предметы, каковы: верование и идея национальности.

Вот, между прочим, небольшой пример. За завтраком (Карл Карлович никак не хотел отпустить меня без завтрака) подали битые котлеты, разварную рыбу и картофель.

Карл Карлович, заметив, что дочь довольствуется разварным картофелем, пододвинул в ее сторону блюдо с котлетами.

— Кушай котлеты, Анюта! для тебя нужна питательная пища.

— Не хочется, папа, отвечала девушка, избегая отцовского взгляда, — я лучше поем рыбы.

— Вздор, друг мой, кушай котлеты, рыба тебе не годится. Не правда ли, Иван Петрович? — спросил генерал, обращаясь ко мне.

— Мясная пища предпочтительнее, отвечал я весьма просто, все еще не догадываясь, что тут дело о вопросе весьма серьезном.

Тут вмешалась Авдотья Карловна.

— Ты забываешь, друг мой, что сегодня среда, — сказала она, обращаясь к мужу, но не поднимая также глаз с тарелки.

Карл Карлович крикнул как-то выразительно, но не желая, вероятно, при постороннем придать серьезный оборот небольшой этой размолвке, сказал шутя: «Среда не пятница, а масленица не великий пост. Что для здорового *шутка*, то для больного *жутко*. — Пусть Авдотья Федотиевна кушает круглый год жареные *подошвы* в постном масле (сушеные грибы); для нее это здорово, — но тебе, друг мой, я думаю, и ангел-хранитель твой не посоветует также поститься».

Анна Карловна, заметив, что дело принимает довольно мирный оборот, ласково посмотрела на отца и отвечала, улыбаясь:

— Шведенбург говорит, что ангелы плодами питаются.

«Ого! подумал я, девушка Шведенбурга читает! Это нужно принять к сведению».

На этот раз эпизод этот кончился тем, что Карл Карлович отодвинул тарелку, пожал плечами и проворчал: «*ну как знаешь!*» — Но нетрудно было догадаться, что подобного рода вопросы нередко возобновляются в кругу семейства Карла Карловича. — От этого неминуемо происходило подергивание и колебание, которые должны были непременно поколебать некоторые убеждения дочери.

В последующие дни я быстро проник во все изгибы мыслей и характера Анны Карловны и убедился, что она была

девушка-выродок в некотором отношении. К немцам она не пристала, а от русских отстала. — Так, например: дома отец ее никогда не говорил по-немецки, оттого что Авдотья Федотовна ни слова не понимала на этом языке; по моему, это весьма деликатно со стороны Карла Карловича, а между тем, я не раз подмечал, что Анна Карловна как будто совестится за отца, оттого, что тот не слишком хорошо управляется с русскими падежами и склонениями. Одна из любимых шуток Карла Карловича состояла в том, что он будто бы отгонял мать от дочери, утверждая, что «Авдотья Федотовна все здоровье в себя забирает». — «Ходите прочь! Авдотья Федот...», — говаривал Карл Карлович, замахиваясь носовым платком. На что старушка непременно отвечала с добродушной улыбкой: «Иду, батюшка, иду!» Мне это было очень по душе: и немецкая фразеология Карла Карловича и добродушный ответ русской старушки; но я замечал, что на Анну Карловну и то и другое производило весьма невыгодное впечатление. Видно было по всему, что с ее стороны не было ни полного доверия, ни откровенности; и что в сущности она была, как говорится: ни рыба, ни мясо, не русская и не немка.

Осмотревшись таким образом малую толику, я, денька три спустя, улучил минуту, когда мы были с Анной Карловной глаз на глаз, да и приступил прямо к делу.

— Вам необходимо медицинское пособие, сказал я... Она было хотела вон из комнаты; — я остановил ее, — выслушайте, пожалуйста!... пособие не простыми лекарствами, пилюлями, микстурами и прочими гадостями. Для душевных болезней нужны другие элементы.

Анна Карловна вздрогнула.

— Где же видите вы, Иван Петрович, душевную болезнь во мне?

— Ну, по крайней мере нравственное неудовольствие, маразм мысли, хронический застой... я с намерением говорил вычурно и неудобопонятно; все это может повести, довершил я, к неправильному кровообращению и уменьшению деятельности сердца.

Анна Карловна схватила меня за руку и почти вскрикнула.

— Так видно, очень заметно, что у меня количество крови уменьшается?

— Полноте, Анна Карловна, успокойтесь, вы девица умная, просвещенная... кровь не уменьшается, а изменяется. Но на все есть средства, согласитесь только лечиться без сопротивления и капризов....

— Хорошо, сказала она, я на все согласна. Только я прежде вас еще знала, что количество крови у меня уменьшается, прибавила она с каким-то таинственным видом; так и должно было быть, но, пожалуйста, не пугайте матушку!

В тот же день я подвергнул пациентку сильному действию электромагнитного аппарата, и признаюсь, что первоначальный эффект чрезвычайно меня порадовал; потому что на висках и шее жилки обозначились, губы слегка зарумянились, пульс поднялся и кожа несколько оживилась. Но увы! реакция не упрочилась и силы больной стали видимо упадать.

Однако ж, несмотря на крайний упадок сил, ее невозможно было удержать в постели и на ночь она часто меняла комнаты: то спала в гостиной, то в столовой, то в спальне матери. Опыт мой не удался, это было очевидно, но я прибегал к другим средствам и еще не унывал совершенно. Старания мои и неутомимые попечения доставили мне доверие и можно сказать дружеское расположение несчастной девушки; она меня с трудом от себя отпускала, и я нередко сиживал возле нее до поздней ночи и даже большую часть ночи.

Однажды, тому назад не с большим неделей... тут Иван Петрович вдруг поспешно встал и разом зажег 6 или 7 свечей, вдобавок к прежде горевшим двум. «Тьфу ты пропасть! что за темнота», проговорил он не без некоторого смущения.

Прищурившись от внезапного и неожиданного освещения, я не без удивления, обратил испытующий взор на Ивана Петровича.

— Смейтесь, сказал он, заметив направление моих глаз — а мне, право, тогда было не до смеху!

— Да что ж такое, наконец? спросил я с некоторым нетерпением.

— А вот что! что разговор наш с барышнею — дошел до чертей.

Я решительно расхохотался.

— В том-то и дело, что не смешно, ей-ей, не смешно, возразил Иван Петрович, принимая прежнее *наполеоновское* положение на стуле.

Время подходило к полночи. — Карл Карлович был где-то по службе в отлучке, Авдотья Федотовна пошла отдохнуть в свою комнату, старая няня дремала на диване за ширмами, так что мы были решительно вдвоем, глаз на глаз, что называется, с Анною Карловною, которая, бедняжка, уже не в силах была вставать с постели. — Комната находилась в полумраке, однако ж мраморная, мертво-бледная голова больной резко обозначалась на подушке, отделяясь от темного фона шелковых занавесок. — Я сидел возле постели, лицом к больной, и по временам щупал пульс, слабо перемежающийся и более и более упадающий. — Вдруг Анна Карловна тихо пожала мне руку, как бы желая обратить особенное мое внимание и проговорила слабым, но внятным голосом:

— Иван Петрович, мне совестно перед вами!

Я покачал головой в знак упрека.

— Нет, вы не так понимаете меня! — Мне совестно, что я не предупредила вас, не открыла вам *правды*; вы не потеряли бы столько дней на напрасное лечение.

— Полноте, Анна Карловна, побойтесь Бога! какая тут потеря времени...

Но она сделала мне знак рукой, показывая, чтобы я замолчал.

— Вам известно, что я невеста? спросила она.

— То есть я слышал мельком, что вы были невестою, отвечал я уклончиво, не желая растревать тягостных ее воспоминаний.

— Нет! не была, а есть — и до сих пор невеста. — Матушка уверяет, что жених мой убит, и папа тоже говорит; но они ошибаются — это неправда.

Принимая слова эти за бред, я стал успокаивать больную:

— Успокойтесь, Анна Карловна — что ж делать! Божья воля.

— Неправда, неправда, продолжала она, не слушая моих увещаний: — жених мой еще в плену у Англичан...

Тут я прервал ее речь, заставил немного успокоиться, дал ей выпить глоток, другой питья; — и желая разрушить до основания нелепую мысль, я сказал ей довольно круто:

— Вот видите, Анна Карловна, что мысль эта не что иное, как бред с вашей стороны. Союзники давно очистили Крым, и все пленные давно благополучно вернулись восвояси.

— Но жених мой в плену у Англичан, оставшихся в Крыму...

— Полноте, Анна Карловна — полноте бредить — вам говорят что все оставили Крым.

— Нет, не все, — упорно настаивала больная, — остались на кладбищах. — Жених мой в плену у покойников!

Слова эти поразили меня, как обухом по голове: они уже обозначали не простой бред, а умственное помешательство, потому что, несмотря на явную нелепость, заключали однако ж в себе некоторую последовательность. — Открытие это произвело на меня весьма тягостное впечатление, но я тотчас переменял с больною образ обхождения и не стал беспрестанно ей противоречить.

— Так, следовательно, он в Крыму? — спросил я, как бы с участием.

— Да... но по ночам здесь бывает... сказала больная таинственным, гробовым голосом, — и вот доказательство его присутствия!! При этих словах несчастная приподняла черную бархатную ленточку, которую она постоянно носила на шее, и указала на маленькое кровавое пятнышко, весьма похожее с виду на царапину.

— И давно он вас посещает? спросил я, подделываясь под мысли больной.

— Давно... более полутора года, в первый раз в ночь с 27 по 28 Августа*.

Нужно вам сказать, — заметил Иван Петрович, прерывая рассказ, — что ночь 27-го августа в особенности мне памятна. У меня одного перебивало под ножом до сотни нижних чинов и 6 офицеров, в том числе один по ошибке или по усердию солдат, потому что он был вовсе без головы и, следовательно, не нуждался в моей помощи.

Я весьма живо помню, что обезглавленное это тело чрезвычайно меня поразило, тем более что тут прибежал денщик убитого, узнал его по одежде, по сапогам и по обручальному кольцу и не отстал от меня, пока я не *вырезал окостеневшего* на обломке эфеса пальца с обручальным кольцом, под тем предлогом, что *покойник дал будто бы клятвенное обещание отослать его невесте*, в случае смерти. Все это быстро представилось моему воображению и у меня невольно сорвалось с языка:

— Так не поручик ли С... был ваш жених? сказал я неосторожно.

Больная вздрогнула всем телом, как-то страшно вытянулась под одеялом и закрыла глаза.

Я дал понюхать ей нашатырного спирта, натер виски уксусом — и дав немного отдохнуть, спросил:

— Что ж вы чувствуете во время посещения вашего жениха?

Больной не хотелось отвечать на этот вопрос; она долго заминалась, как будто стыдилась, однако же сказала наконец:

— Сначала я чувствую как бы озноб по всем членам, потом левая сторона начинает холодеть, точно от прикосновения холодного, ледяного тела и наконец я чувствую, что горячее жало вонзается мне в шею и сосет кровь в течении нескольких минут, до тех пор, пока я засну.

Я хотел было возразить и доказать по пунктам, что все это ни что более, как дела расстроенного воображения... Но

* Накануне приступа (Прим. авт.).

больная вдруг задрожала, и тихо проговорила: «Тс! приближается!!...»

Водворилось глубокое молчание! Без прибавления, можно было слышать биение и моего и ее сердца. Я взял больную за левую руку, дотронулся до ног и действительно заметил ощутительное охлаждение кожи.

Зрачки, уставленные на один пункт, подвергнулись сильному расширению и наконец больная закрыла глаза и произнесла весьма явственно: «*Er ist da*»...

Тут Иван Петрович опять вскочил со стула и стал прохаживаться по комнате, повторяя:

— Глупо, сам чувствую, что глупо; все игра воображения, больше ничего; — но признаюсь, что в то время меня просто мороз по коже подирал! — И что это ей вздумалось сказать по-немецки: «*Er ist da*»?

Погода немного, Иван Петрович продолжал свой рассказ:

— Вскоре больная уснула или, по крайней мере, несколько успокоилась и лежала смирно.

Я разбудил старуху няню, а сам вышел в соседнюю комнату — дух перевести, что называется. — Я не пуглив, но после предыдущей сцены каждый ночной звук, треск мебели, отпавшая штукатурка, скрип дверей — все это казалось мне проявлением другого фантастического мира.

На диване, на котором я располагал отдохнуть немного, я нашел книгу, пояснившую мне многое касательно нравственного состояния несчастной Анны Карловны.

Книга эта заключала в себе немецкий перевод творений Байрона. — Рассказ, под названием «Вампир», отмечен был смятым письмом, в котором полковой командир покойного поручика С... подробно описывал Карлу Карловичу геройскую смерть молодого человека. — Каким образом письмо это попало в руки Анны Карловны?... не знаю; но очевидно, что страшное описание глубоко поразило нервную ее систему в то самое время, как воображение ее (весьма склонное к фантастическому, чему свидетельствует чтение Шведенборга) наполнено было нелепостями вампиризма. Приключившийся прыщик на шее и сдернутый вероятно

во время сна, увеличил аберрацию. — От этого столкновения произошло *локальное* помешательство, т. е. *липомания* или *мономания*. — За определением, за классификацией, за названием у нас дело не станет. На этот счет наука у нас мастерица; но объяснить исходную точку и *процесс* разного рода чувственных *аберраций*, при которых человек слышит, видит, чует и осязает предметы невидимые и не ощутительные для других людей, дело до сих пор невозможное для науки.

На другой день после печального моего открытия (на счет Анны Карловны), я, с согласия Карла Карлыча (которому разумеется все рассказал), поднял на ноги всех здешних психиатров. — Много было по этому случаю прений, рассуждений, умных выводов — но увы! все единогласно решили, что совершенный упадок сил больной девушки не подавал надежды на благотворную реакцию; и действительно, в тот же день началась агония несчастной умирающей.

Авдотья Федотовна, которой принуждены наконец были объявить об опасном положении ее дочери, совсем растерялась и только повторяла беспрестанно: «Господи Боже мой! как же это могло случиться?!»

Карл Карлович, совершенно погруженный в глубокую, безвыходную грусть, не отходил от дочери.

К вечеру больную приобщили святых тайн, и наконец соборовали маслом. — Для исполнения последнего таинства, она потребовала, чтобы ее перенесли в столовую, уверяя, что там будет и просторнее, и приличнее.

Перемещение это походило уже как нельзя более на похороны, но больная, казалось, этого не замечала, она довольно спокойно озиралась вокруг и только изредка шептала мне на ухо: «*Er ist da — immer da*».

Смерть быстро приближалась, но противодействия или усилия со стороны умирающей не было вовсе заметно. — Без борьбы смерть прибирала в руки свою жертву.

Явление весьма редкое и в высшей степени замечательное по оттенкам, которые в подобном случае наблюдаются в выражении лица умирающего. — Сначала замет-

но только выражение страдания и покорности, потом обозначается нетерпеливое ожидание и наконец торжественное спокойствие.

Кто сумел разумно проследить на лице спокойно умирающего вышеупомянутые оттенки — того не собьют с толку никакие философствования в мире.

На восьмом евангелии пульс больной прекратился; на девятом лицо ее приняло выражение *торжественного спокойствия* и когда священник поднес ей животворящий крест — то ее уже не было в живых....

Иван Петрович заключил свой рассказ целой диссертацией о душевных болезнях вообще и о нелепости *вампиризма* в особенности; передать всего невозможно — и я скажу только, что старик Фока появлялся с *горяченьким* бесчисленное множество раз — и что когда мы расстались с Иваном Петровичем, то все девять свечей, зажженные им в *мракофобинском* припадке, догорели почти до конца.

Е. Назаровская

Материнская любовь

Рис. В. И-ского



«В отъезд требуется гувернантка к шестилетней девочке, 75 р. на всем готовом» — следовал адрес имения, лежащего вблизи одной из станций Балтийской дороги.

Я задумалась не надолго — положение мое было критическое. Я очутилась почти без средств в чужом городе и была рада всякому месту.

Случилось это потому, что отец семейства, где я служила, внезапно скончался, а его вдова с детьми, при которых я состояла гувернанткой, уезжали за границу.

Мне заплатили мои сорок рублей за месяц вперед и простились со мной.

Плохо заканчивался для меня старый год. — «Может быть, новый принесет мне счастье» — подумала я.

«Напишу-ка я этой баронессе Грабенгоф. Я молода, здоровье у меня цветущее, работа меня не пугает, а если мне не понравится — я уеду, все-таки проведу праздники в семье, хоть и в чужой, а вознаграждение даже блестящее». — Я написала письмо с предложением своих услуг.

Баронесса ответила мне телеграммой, прося приехать немедленно.

На одной из ближайших от Ревеля станций я сошла и справилась, присланы ли лошади из имения баронессы. Мне ответили, что лошади здесь, но кучер просит обождать несколько минут, пока он исправит какую-то порчу в упряжи.

В ожидании отъезда я пила чай в маленьком станционном буфете. За стойкой буфета стояла полная краснощечная немка. Она давно поглядывала на меня с любопытством и, наконец, не выдержав, вышла из за своей стойки и под села ко мне.

— Вы едете в имение Грабенгоф? — спросила она. — Гостить?

— Нет, я приглашена баронессой в гувернантки.

— А каким образом вы нанялись к баронессе Юлии?

— По объявлению. Почему это вас интересует? — довольно сухо спросила я.

— Потому что, кажется, все бюро для найма гувернанток уже не хотят иметь дела с баронессой. Она должно быть очень капризна. Приедет какая-нибудь барышня, проживет два дня и сейчас же уедет. Баронесса отказывает ей под предлогом, что ее дочке не нравится новая гувернантка.

— Ну, я постараюсь понравиться, — сказала я.

— Все равно, вы долго не проживете, — уверенно сказала буфетчица, — через месяц заболеете и уедете сами; воздух там что ли такой, но те, которые уживались у баронессы, заболевали и уезжали, а две даже померли: одна гувернантка, другая служанка. Теперь вы не найдете ни одной девушки в окрестности, которая бы согласилась служить в Грабенгофе. Представьте себе, что старухам ничего не делается — живут себе, а молодые, да здоровые сейчас же заболевают.

Со странными мыслями я подъезжала к Грабенгофу и этих тревожных мыслей не успокоил вид старого поме-

щичьего дома. Это было довольно длинное здание, в два этажа, под высокой черепичной крышей. Его стены были лишены всяких архитектурных украшений, кроме герба баронов Грабенгоф, над воротами.

Старые развесистые деревья окружали этот дом. Теперь, в зимнем своем уборе, они резко отделялись от темных стен. Надвигались сумерки. Меня почему-то поразила тишина. Кругом было жутко тихо.

Выходя из саней, я нарочно громко что-то сказала кучеру и хотела сильнее дернуть звонок, чтобы нарушить эту несносную тишину.

Но не успела я этого сделать — дверь открылась и на ее пороге я увидела старого слугу в темной ливрее.

— Баронесса ожидает барышню в гостиной, — кланяясь, доложил он, и, взяв канделябр с зажженными свечами, повел меня через большой темный зал, который я не могла рассмотреть при трепетном свете свечей.

В гостиной было и тепло и светлее от топившегося большого старинного камина.

С кресла поднялась мне навстречу дама в сером платье — высокая и стройная.

— Добро пожаловать, *mademoiselle*, — сказала она ласково слабым голосом, — благополучно ли вы доехали?

Я поблагодарила.

— Садитесь, дорогая, вот сюда, — указала она на кресло, по другую сторону камина, — и познакомимся.

Она протянула мне свою худую почти прозрачную руку и пошатнулась. Я поспешила поддержать ее.

— Я нездорова и очень слаба, — с грустной улыбкой сказала она, — и я, и моя маленькая Минночка очень слабы здоровьем. Может быть потому я так и люблю видеть кругом себя здоровых людей.

Едва я взглянула на баронессу — все мои тревожные мысли рассеялись и заменились жалостью к этой милой ла-

сковой женщине, такой болезненной и слабой, с нежными и словно испуганными глазами.

— Как я рада, что вы такая симпатичная — я думаю, что вы понравитесь Минночке, моей милой, маленькой Минни — и полюбите ее... Она немножко избалована, я сама чувствую, что она избалована, но она у меня одна! Это — моя жизнь... Я живу только для нее. Она такая слабенькая и болезненная... Вы будете ее любить — не правда ли?

Баронесса взяла мои обе руки и смотрела на меня своими кроткими глазами.

Я была растрогана — эта нежная материнская любовь преобразила ее черты и сделала ее почти красавицей в эту минуту.

Слуга доложил, что обед подан.

Обед был роскошный. Баронесса неотступно потчевала меня и сама ела очень много, хотя с видимым усилием.

— Доктора мне советуют как можно больше есть, у меня сильное малокровие — кушайте и вы побольше, гуляйте на свежем воздухе, вообще берегите ваше здоровье.

Обед уже кончился, на стол подали фрукты и десерт, когда баронесса ласково сказала:

— Теперь я познакомлю вас с вашей ученицей.

Она вышла и через минуту вернулась, ведя за руку свою дочку.

Я люблю детей, люблю и красивых, и некрасивых, чистеньких и замазанных, здоровых и больных, но никогда ни один ребенок, как бы некрасив он ни был, не производил на меня такого отталкивающего впечатления, как эта девочка.

Она была необыкновенно худа, ее руки и ноги были похожи на паучьи лапки. На этой скелетообразной фигурке сидела большая голова с мертвенно-бледным лицом. Большой рот с тонкими губами был, наоборот, ярко-красен, при улыбке он растягивался в длинную щель и обна-

жались редкие, острые зубы.

Веки почти закрывали глаза и глаза из-под этих тяжелых полуопущенных век, светлые, почти белые, казались незрячими.

Что еще поразило меня в ее наружности — это уши. Очень большие, оттопыренные, тонкие — они напоминали крылышки летучей мыши.

Я даже слегка вздрогнула от неприятного ощущения, когда в моей руке очутилась паучья лапка девочки, но я сейчас же упрекнула себя.

«Бедный, больной ребенок, надо приласкать его».

— Вот мы и познакомились, Минна, — весело сказала я, — надеюсь, мы подружимся. Хочешь меня поцеловать?

Девочка медленно подняла свои тяжелые веки, взглянула на меня пристально и вдруг впилась в мою щеку каким-то жадным поцелуем.

— О, она вас полюбила, полюбила! Какое счастье! — воскликнула баронесса, сжимая мою руку. В ее кротких глазах блестели слезы восторга.

Шел уже третий день моего пребывания в Грабенгофе, и я уже чувствовала, что воздух его мне вреден. На первый же день моего пребывания, встав поутру, я почувствовала себя очень слабой и целый день у меня кружилась голова, чего раньше со мной никогда не бывало. Я решила, что это с дороги, так как ночь я спала, как убитая. Я едва имела силы, после чаю, который я пила с баронессой, дойти до постели и раздеться.

Меня удивило, что и на другой, и на третий день тот же свинцовый сон овладевал мною к вечеру. На четвертый день я думала, что я не встану — так я себя скверно чувствовала. Хорошо, что занятия с ученицей еще не начинались. Я ее видела только по вечерам, после обеда: она обедала отдельно.

— Минночке доктор предписал строгую диету, — сказала баронесса, обнимая девочку.

Кажется, сама девочка добровольно подчинялась предписанию доктора, так как с жестом отвращения отказывалась от десерта, который я ей предлагала.

Ко мне она чувствовала какую-то страстную нежность и все жалась ко мне.

Этот час после обета, пока Минна не уходила спать, был для меня тяжел. Я упрекала себя... но я чувствовала отвращение к этому ребенку.

На третий день мы, как и во все эти дни, пили чай у камина.

— Завтра канун Нового Года, — сказала я грустно. Мне вспомнилось, что в этот день все будут веселиться, а я буду сидеть одна с этой тихой женщиной в занесенном снегами, мрачном доме.

— Ах, и в самом деле завтра 31 декабря по старому стилю. Я перепутала все числа. Вся моя жизнь сосредоточилась на моем ребенке и для меня праздник тогда, когда моя крошка здорова и счастлива. Вы не осуждаете меня за такую всепоглощающую любовь?

— Что вы, баронесса. Что же может быть прекраснее и благороднее материнской любви, — сказала я.

— Не правда ли? Но почему вы так долго не пьете ваш чай?

— Благодарю вас, мне что-то не хочется, — отвечала я.

— Нет, нет, вы, пожалуйста, выпейте его. Это полезно... чай... пожалуйста!

— Право, мне не хочется, — отвечала я, удивленная ее настойчивостью.

— Как же так без чаю... Это нельзя... ну, милая, сделайте мне удовольствие! — ее голос дрожал и она нервно мяла в руках чайную салфеточку.

Выражение мольбы и тревоги на ее лице меня поразило, и чем больше она приставала ко мне, тем упорнее я отказывалась.

Она замолчала, грустно вздохнула и опустила голову.

Придя в свою комнату, я удивилась — мне вовсе не хотелось спать и я долго просидела, читая и работая, и на другой день встала гораздо бодрее, голова не кружилась.

Я подошла к зеркалу и увидала, что лицо мое не так бледно, и красное пятно, которое у меня появилось на шее, почти прошло.

Я целый день не видала баронессы, я даже обедала одна.

Только к вечеру она вышла, чтобы, по обыкновению, пить чай у камина.

— Сегодня, я надеюсь, вы будете пить чай, — любезно спросила она.

— О, да, — ответила я.

И вдруг, сама не знаю почему, подумала:

«А не подливает ли она мне чего-нибудь в чай, чтобы я спала... ведь вчера я не хотела спать». Зачем ей это нужно? Что она скрывает? Ведь я, кажется, помещаюсь так далеко от ее комнат, что не могу ничего подслушать или подглядеть.

Мне отвели большую комнату с тяжелыми, дубовыми панелями в верхнем этаже, тогда как внизу было несколько маленьких уютных комнаток.

Сама не знаю почему, но недоверие мое все возрастало и возрастало и я незаметно для баронессы не выпила, а вылила за кресло, налитый ею чай.

Я скоро ушла, сказав, что хочу спать, но спать мне совсем не хотелось. Сначала я думала почитать, но потом я решила не зажигать огня, чтобы баронесса не догадалась, что я не сплю. У меня почему-то явилась твердая уверенность, что она что-то подливала в мой чай.

Итак, я должна была встретить Новый Год одна, полубольная, далеко от всех близких, ожидая что-то — во всяком случае, не радостное и не приятное.

Я невольно прислушивалась.

За панелями часто возились мыши, но это меня не пугало — я не боюсь мышей.

Моя комната освещалась маленькой ночной лампочкой, стоящей на камине.

Вдруг, я услышала скрип и часть панели отодвинулась, баронесса тихонько заглянула в комнату из темного квадрата потайной двери.

Я не шевелилась на постели.

Тогда баронесса подвинулась и пропустила Минну. Девочка прыгнула в комнату. С минуту она стояла, вся подергиваясь, шевеля руками и втянув голову в плечи, потом быстро метнулась в мою сторону, прыгнула на меня и впилась в мою шею.

Я дико закричала и, оторвав ее от себя, бросила на пол.

Мой крик слился с криком баронессы, которая бросилась к корчившейся на полу Минне.

О, как отвратительно было это чудовище, извивавшееся всем своим скелетообразным телом, с вытаращенными глазами и со ртом, полным крови — моей крови...

Я увязывала и укладывала свои вещи. Ночь под Новый Год я провела, дрожа от ужаса, спрятавшись в конюшне.

Кучер не понимал, что я ему рассказывала, — он едва знал десяток слов по-русски, но он не очень удивился, когда я вбежала полураздетая к нему в конюшню.

— В дома много чудес, — старая дома, ах, старая дома! Барон сразу умер — ходит, видят, старая барон.

Только когда совсем рассвело, я решилась пойти в мою комнату, чтобы собрать вещи и немедленно уехать.

Я была почти готова, когда вошла баронесса. Она едва дошла до кресла и, опустившись в него, с мольбою сказала:



— Не уезжайте, я согласна на какое угодно вознаграждение... сжальтесь над нами... сжальтесь над несчастным ребенком.

Я молча завязывала свою корзину.

— Послушайте, застонала она, ломая руки, — неужели у вас нет жалости! Ведь моя дочь, бедный ребенок умрет с голоду... Ведь она может питаться только человеческой кровью! Свою я ей отдала всю, я едва жива. Если я ее накормлю еще хоть раз, я умру! А если я умру, кто о ней поза-

ботится? Неужели вы так жестокосерды, что не захотите спасти бедное дитя?

— Дитя, — крикнула я, — это не дитя, а отвратительное, вредное чудовище. Я бы на вашем месте радовалась, что умрет такой выродок, а вы еще жертвуете жизнью и здоровьем других людей, чтобы кормить эту гадину.

— Но я — мать! — зарыдала баронесса, — вы не имели детей, вы не знаете материнской любви — этого святого, всепоглощающего чувства.

Она упала на колени, схватив меня за платье, но я имела «жестокость» оттолкнуть ее и уехать.

Долго лечилась я от острого малокровия, никому не жалуюсь, да и кто бы мне поверил.

Теперь я выхожу замуж и желаю только одного: если у меня будут дети — никогда не чувствовать к ним такой сильной материнской любви.

Մարգարի

Բարձրակ

Версты за полторы от нашей усадьбы, за селом, около погоста, стоял домик нашего священника отца Савелия Гиацинтова.

Домик был старый, скверный, попросту хата, глиняная мазанка, как и все на селе. Только крыта была, в отличие от мужицких, не соломой, а дранкой — деревянными плашками.

Было в домике маленькое трехконное зальце. Окошки выходили прямо в густые заросли сирени, и поэтому свет в комнате был зеленый и люди в зальце зеленые, как покойники.

Потом шла спальенка, в стене которой прорублена была форточка в кухню для подачи кушанья. Была еще комнатка без определенного названия. В ней стояли мешки, кадушки и спала тетя Ганя, батюшкина сестра.

Вся семья батюшки состояла из матушки, дочки Лизы, нашей сверстницы, да вот этой тети Гани, имя которой выговаривалось с придыханием почти на «х» — Ханя.

Батюшка был худ, высок, добр и очень беден. Сам, бывало, в высоких сапогах и холщовом подряснике шагал за сохою. Жиденькие косички подкручивал под широкую соломенную шляпу.

Матушка была огромная, высокогрудая, нос трубой. Вероятно, от этого строения носа говорила несколько гнусаво, что производило впечатление надменности.

Тетя Ганя появлялась у нас редко, только в самые торжественные поздравительные дни, и помню я ее в ярко-зеленой бархатной кофточке с зеленым галстучком.

Батюшку прихожане любили, хотя он был строг.

Помню, в церкви, когда причастники, напирая друг на друга, лезли к чаше, он очень гневно кричал:

— Куда прете, козлища! Разве может Господь всех вас сразу напитать! Становитесь в очередь!

«Козлища» в свитках с огромными, собственного изделия, толстыми, как бревна, свечами темно-желтого воска толпились испуганно и упрямо и заранее разевали рот.

Церковь была маленькая.

На полу около амвона прихожане ставили свои приношения причту: глиняную миску, а в ней торчмя три продолговатых хлеба и в середине жареная курица или квадратный кусок сала, надрезанный крестом.

Перед этими хлебами и курами часто видали мы молодую бабу или девчину, покаянно на коленях простаивавшую всю обедню. Это батюшка наказывал за какую-то таинственную провинность, нам, детям, не объясняемую.

Притвор церковный украшали две большие картины религиозного содержания, пожертвованные моим отцом. Одна из них запомнилась на всю жизнь. Изображала она бичевание Христа. На первом плане помещалась фигура одного из бичующих, рыжего, волосы дыбом, босого, в ярко-зеленой рубаше. Нога его с невероятно развитым большим пальцем, снабженным на первом суставе огромной шишкой, явно подагрического происхождения, занимала самый низкий пункт на полотне и поэтому ребята, поднимаемые бабами, чтобы приложиться, целовали именно эту поганую незабываемую ногу.

Служил обедни вместе с батюшкой псаломщик, он же и звонарь. Славился псаломщик необычайно громким сморканием и при этом без помощи платка, что очень возмущало мою тонную старшую сестру. Чтобы образумить неистового псаломщика, она надумала подарить ему носовой платок, которым он немедленно прельстил просвирнину работницу. Работница простояла две обедни на коленях перед жареными курицами, а он трубил по-прежнему в руку.

Наша подруга Лиза, батюшкина дочка, девочка удивительная, несколько раз выдавшая черта и вообще враншая так вдохновенно и самозабвенно, что даже худела и истощалась, как бы исходила этим враньем. Эта Лиза рассказывала нам, что куры и хлеб и сало запирались в шкаф и что обед у них никогда не готовился, а если кто хотел есть, то прямо лез в шкаф и ел. Мне это казалось удобством и роскошью гениальной.

— Когда я вырасту большой и выйду замуж (с этого начинались обыкновенно все мои мечты), у меня в каждой комнате будут такие шкапы. Проголодаюсь в спальне —

буду есть в спальне, проголодаюсь в передней — буду есть в передней. И никаких фокусов не надо — прямо сунь голову в шкаф и ешь!

Впрочем, может быть, Лиза в данном-то случае и не врал. Может быть и правда, у отца Савелия было такое усовершенствованное хозяйство — это в сущности было безразлично. Мы верили Лизе целиком, иначе уж очень скучно и просто было бы на белом свете.

Рассказывала Лиза, как приходил к ним портной. Такие странствующие портные появлялись в те годы в помещичьих усадьбах. Придут, обошьют всех, кого нужно, и идут дальше.

Так вот такой портной зашел и к батюшке. Сшил матушке салоп. Но это не главное. Главное и самое интересное то, что он потихоньку съел в амбаре всех крыс.

— Аж жалко! — прибавляла Лиза.

— А ты видела, как он их ел? — в ужасе спрашивали мы.

— Нет. Этого видеть нельзя. Если бы он узнал, что за ним подсмотрели, он бы тому человеку ножницами голову отхватил.

— А откуда же узналось?

— Кривая баба видала.

— А как же он ее не убил?

— А она никому не рассказала, он и не узнал, что она видела.

Кривая баба жила у батюшки «за все». То есть варила, мыла, полола, доила, стены белила, где нужно поливала и где можно подкрадывала.

Когда мы приходили к Лизе в гости, баба выползала из каких-то подклетей, долго на нас смотрела и от умиления одним глазом плакала. Приговаривала при этом очень странные слова:

— Сидят панюсеньки, таки малюсеньки, и с ручечками и с ножечками, и глазками пилькают, и что они там себе понимают, чи не понимают и кто их разберет.

Баба считалась безответной, но во всех таинственных Лизиних рассказах она всегда играла какую-нибудь роль.

Баба, мол, слыхала, как на болоте плачут некрещенные младенцы, баба знала, что у нашей горничной Корнельки «под сподницей рыбий хвост», баба видела, как за старой мельницей какой-то зеленый шишкун лапой гром ловил и под себя прятал. И тех чертей, которых Лиза видала, баба, конечно, тоже видела, только признаваться не хочет, чтобы черт ей как-нибудь не подгадил. Черту ведь очень неприятно, если людям удастся за ним подглядеть. Черт должен быть невидимкой, а уж это, значит, совсем какой-то растяпа, если его человеческий глаз заметил.

Мы бабу уважали и побаивались. Особенно уважать стали после того, как она предсказала, что и месяца не пройдет, как будет у Лизы либо братец, либо сестрица. И действительно, в очень скором времени после этих слов пришла к нам Лиза с удивительной новостью: действительно родился братец, красавец, весь в матушку, а умен так, что прямо все надивиться не могут.

— Что же он говорит? — спрашивали мы.

— Говорит только когда никто его не слышит. Баба подслушала, как он говорил. Голосок такой тоненький-тоненький, как у комарика. «Пора, говорит, печку топить, мне хо-о-олодно».

Вот какой родился у Лизы братец. Баба сразу его оценила.

Между прочим, мы никогда и не узнали, как бабу зовут. Кликали ее все просто бабой.

— Баба! — трубила матушка в свой могучий нос. — Баба! Наставь самовар! Баба! Тащи горлач молока!

Мы бегали взглянуть на братца. Окрестили его Авениром, называли Венюшкой. Безобразен он был потрясающе. Совсем паук! Живот вздутый, руки-ноги тонкие, длинные и все время выпячиваются и втягиваются, так что казалось, будто этих рук и ног по крайней мере пары три. И были у него ресницы необычайной длины, прямые, мокрые, прилипали к щекам. А всего страшнее были махры на голове — красно-рыжие, какие-то словно кровавые, похожие как у того рыжего, бичевавшего на священной кар-

тине. И большие пальцы на ногах так же отставали, как у того, и такие же были несоразмерно огромные.

Жуткий был ребенок.

Отец Савелий однако был доволен. Расхаживал по залу, заложив руки за спину, и тихо напевал, как определяла матушка, «из светского».

— М-мы... м-мы... м-мым...

Мы знали это пение и часто дразнили друг друга:

— Замолчи! Поешь, как отец Савелий из светского.

Но радовался он недолго. Ребенок был слаб и хил, и надежды, что поправится, было мало. Отец Савелий стал задумываться:

— Поздний плод сей, — говорил он. — Поздний плод сей не наберет себе солнечных соков. Не кровеносен, хил и сотрясается.

И вдруг все изменилось. Неожиданно и неладно.

К семейству отца Савелия нужно еще причислить матушкиного братца.

Но был он не постоянным членом семьи, а каким-то приходящим, как в школе бывают живущие и экстерны.

Матушкин братец «приходил». Так и говорилось:

— Ой, к попу нынче лучше не заглядывайте — попадьин братец пришел.

Откуда он приходит, почему, и почему уходит — этого, кажется, никто не знал. Бывали у нас на Руси такие типы, встречались в разных кругах, больше, впрочем, в купеческих.

Внешность у этого братца была незабываемая. Рост огромный, нос фамильный, как у матушки, — трубой, кадык выпячен. Платье носил вероятно с чужого плеча, потому что все на нем было необычайно коротко и узко.

Насколько я теперь помню, было ему лет двадцать шесть, и был он как будто выгнанный семинарист, личность опустившаяся, страх и позор семьи.

Говорили о нем всегда словами грубыми и могучими. Вместо «ест» — «хрюпает», вместо «пьет» — «трескает», вместо «говорит» — «рывает», вместо «смеется» — «гогочет».

И не для того, чтобы обидеть его, а вероятно потому, что слова обычной человеческой речи слабо его определяли, слишком были нежны для богатырской его личности.

Видела я его раза два.

Один раз он стоял посреди скотного двора и, размахивая руками, будто дирижируя хором, ревел:

«Нел-людим-мо наше м-м-море!»

Другой раз сидел на крылечке, шевелил пальцами босой ноги и долго сосредоточенно, будто удивленно, на них смотрел.

Потом сказал:

— Ишь как мудро придумала природа: пять штук натяпано и все ни к черту не нужны.

Здоровья он был совершенно неугасимого. Тетя Ганя рассказывала, как накалила она к зиме мешочек орехов и оставила в зальце. А он пришел да за один присест все и усидел.

— Ну и что же? — ахали слушатели.

— Ну и ничего. Поколотил себя кулаком по животу и пошел спать.

Являлся он всегда налегке без всякого багажа, иногда даже без шапки. Но раз принес какой-то маленький вышитый гарусом саквояжик, с какими в те времена старухи в баню ходили. Поставил в уголок в прихожей, прогостил недолго, а когда ушел (как всегда не прощаясь), прислал оказией с мужиком из села верст за десять записку:

«Забыт саквояж. Прошу немедленно опечатать его именной сюргучной печатью и хранить в потаенном месте до моего возвращения».

Батюшка страшно перепугался.

— Бомба! Динамит!

Хотел было сразу ехать к исправнику и «во всем повиниться». Потом решил запечатать. Но печати, да еще именной, у батюшки не было. А ведь сказано строго: «именной сюргучной»... Тогда соблазнился и решил вскрыть и посмотреть.

Но в доме матушка не позволила, а во дворе могли подглядеть и донести.

И вот батюшка ночью, выждав луну, крадучись как тать, пробрался за амбары и, перекрестившись, повернул колечко.

В вышитом бабьем саквояже, озаренные мечтательным лунным светом, лежали — бутылка пива и полбутылки водки. Вот и все.

Очевидно, братцу не хотелось, чтобы знали, что у него так свято хранится, а с другой стороны, может быть, и беспокоился за целость. Вот и придумал именную печать.

Звали это чудовище Галактионом. Называли Галашей.

Позднему батюшкиному плоду, младенцу Авениру, было уже месяцев десять, когда неожиданно пожаловал Галаша. На этот раз оказался он очень припараженным, в демикотоновом сюртуке, даже не слишком коротком, и с какой-то поклажей, завернутой в замасленную газету.

— Был на кондиции, — объяснил он и без вопросов, со знавая, что удивляет роскошным своим видом. — У Галкинского управляющего оболтуса болванил. На экзамен повезут.

День был жаркий. Облобызавшись с батюшкой и матушкой, Галаша немедленно спустился в погреб и там, по свидетельству тети Гани, «выдул молоко от четырех коров». Коров этих кривая баба при Гане выдоила и весь удой, процедив его, как полагается, отнесла в погреб.

Эпизод этот потом много раз рассказывался и всегда вызывал у слушателей сначала недоверие, потом ужас.

Но тете Гане не верить было нельзя. Да и сам Галаша не отрицал.

— Верррно, — говорил. — Выпил. И доведись еще — так и еще выпью.

Только что вылез Галаша из погреба, как его спешно перехватила матушка, желавшая поскорее похвастаться своим сыночком Венюшкой.

— Поздний плод, — приговаривал батюшка, — сотрясается. Продуктов потребляет изрядно, но не растет и не толстеет, однако, тяжел. Ну, Ольга, покажи своего Веньямина, младшего отпрыска. Покажи дядюшке.

Матушка вынула из люльки младенца.

— Уже четыре зуба, — сказала она гордо, передавая ребенка Галактиону.

Галактион неловко, не глядя на него, поднял младенца к плечу. И вдруг тот весь затрясся и, царапая, словно кошка, ногтями по демикотоновому Галашиному сюртуку, укусил дядюшку за шею. Галаша от неожиданности дико вскрикнул и чуть не выпустил племянника из рук. Матушка в ужасе еле успела подхватить. Галаша тер шею и, выпуча глаза, смотрел на Венюшку.

— Господи, да что же это? — пробормотал он. — Какой страшный. Прямо вурдалак!

Венюшка действительно был страшен. Огненно-рыжий, щеки в красной коросте, как часто бывает у деревенских ребят, руки-ноги как прутья.

Испугал Венюшка дядьку так, что даже смешно. Огромный детина сразу присмирел, за ужином ни до чего не дотронулся — в этом, может быть, и «молоко от четырех коров» было виновато. Однако ночью стало его трясти так, что даже тетю Ганю разбудил, и та ему на живот горячую золу прикладывала, а утром стал гореть и бредить.

— Очень нехорошо он в бреду про Венюшку выражался, — рассказывала тетя Ганя. — Так нехорошо, что даже не повторить.

И прибавляла:

— Я однако думаю, что это ему молоко в голову бросилось.

Венюшка ли виноват, молоко ли, а только провалялся Галактион более месяца. Иссох, кожа желтая, скулы вылезли, как маслаки, стал весь словно объединенная масталыга.

Лечили его старательно: давали водки с перцем и с солью, поили липовым цветом, ромашкой, полынью, жгли козью шерсть, и два раза терла его баба керосином. Никаких результатов. Только раз дал бабе в зубы.

До того дошло, что чуть было за доктором не послали...

Когда мы приходили к Лизе играть, нас в комнаты не пускали, но через окно видна была в зальце койка и на ней под серой попонкой гигантское тело с торчащими наружу

огромными сиреневыми ступнями.

Так пропадал бедный Галактион. А Венюшка между тем начал неожиданно набираться сил. Очень все удивлялись и радовались: ест меньше, а толстеет. Щеки налились, раздулись, руки-ноги окрепли. Сытый стал, прыгает так, что уж одного его боялась матушка в люльке оставлять — еще вывалится. Ползал по полу.

Вот раз вышла матушка в кухню и вдруг слышит: ревет Галаша козлиным голосом. Кинулась в комнаты: сидит больной на постели, глаза выкатил, трясется весь и орет. А у порога, ухватившись за притолку, стоит на кривых ногах, качаясь, младенец Авенир. Рот разинул и смотрит. Схватила матушка сына да и как раз вовремя, потому что Галактион стал по полу шарить, сапог ловить, чтобы запустить в племянничка. Бог его знает, что ему показалось. Человек в горячке, что с него спросишь.

— Вурдала-ак! Вурда-ла-ак! — кричит какую-то ерунду. Положили на голову мокрое полотенце — еле успокоили.

А вечером подошла кривая баба к батюшке и шепчет:

— Отец Савелий, а отец Савелий! Кабы этого Вурдалашеньку да на девять ден отсель увезти, так Галашенька бы и поправился.

Батюшка даже побелел весь:

— О ком ты, нечестивая, так выражаешься?

Думая, что он укоряет ее в непочтительности к матушкину брату, баба ответила:

— Да про Галактиона Тимофеича. Только что они больны, так я их Галашенькой...

Перед такой невинностью растерялся отец Савелий, и гнев у него прошел. Посмотрел на бабу и сказал даже с неким уважением:

— Ну баба, и дура же ты!

А баба на другое утро, отстряпавшись, ушла и пропадала до вечера, чего никогда с ней раньше не бывало.

Вернулась спокойная, будто и не виноватая, подошла к матушке:

— Я в Лычевку сбегала. Теперь все наладим. Иди, мать, в огород чесноку накопай.

В Лычевке, всем известно, жила Побориха, ведунья, колдунья, повитуха и костоправка. С ней можно было на счет всяких дел советоваться.

Матушка, наладившаяся было ругать бабу за отлучку, присмирела. Интересно стало, что за штуку придумала Побориха.

Первое дело оказалось — чтобы батюшка ничего не знал. Будет знать — дело не выгорит.

Второе — навязали чесноку на тесемку и надели Галактиону на шею. Потом пошла баба к младенцу Авениру и стала ему чесночной головкой в нос тыкать, пока тот не заревел.

— Ага, — сказала, — не нравится? Так вот так и знай!

Ночью сделались с младенцем корчи. Верно с перепугу — уж очень страшно кричал на него Галактион.

И свершился с того дня перелом — стал ребенок хиреть, а Галактион поправляться.

Поправился, но засиживаться не стал. Чуть немножко отъелся, напаялил на себя сюртук, разыскал свою поклажу — замасленный сверток — и ушел.

Но на этот раз попрощался. Только не со всеми, а с Авениром.

Подошел к люльке, посмотрел.

— Что, — сказал, — много взял? Шиш взял, братец ты мой!

Повернулся, плюнул и ушел.

Поздней осенью, вскоре после нашего отъезда, младенец Авенир отдал Богу душу.

Родители очень горевали, а кривая баба от батюшки ушла.

— Теперь, как он померши, жди от него и того хуже.

Впоследствии, несколько лет спустя, услышала я деревенскую легенду о страшном поповиче, который был мал как котенок, а ночью вылезал из люльки, вырастал «аж до потолка», четырех коров высасывал (вон оно как переметнулось!) и кто по пути попадется — насмерть загрызал. А пришел из Киева ученый дядька, спасенной жизни. Он вурдалака отчитал и душеньку его ослобонил.

А лучше всего в легенде было то, что разведала, мол, о поповиче-вурдалаке и обо всех его штуках «трехглазая баба».

Голос народа — голос Божий не только прибавил кривой бабе естественный глаз, которого у нее не хватало, но еще и одарил сверхъестественным третьим.

А что разнесла по белу свету сама кривая баба, это до меня не дошло. Хотя, пожалуй, насчет третьего глаза именно она и придумала.

A. Penugolu

Hepta

1.

Вот уж по совести всякий, кто бывал в Благодатном, не покривит душой, помянув добром старое Сухотинское гнездо. И не в насмешку с испокон веков дано ему такое прозвище, лучшего, сколько ни мудри, не придумаешь, и хоть никакого винограда в садах его не цвело и не зрело и райские птицы не пели, а уж, как есть, — ну благодатное: сама благодать Божья разливалась по его доброй земле.

Старый с колоннами дом, кленовая аллея, фруктовый сад, поля, лес, скот, люди — все Благодатненское приводило в восхищение не только соседей, но и любого наезжавшего с других краев и по делу и так себе, да того же фыркающего подстриженного петербуржца и растрепанного избалованного москвича.

Дом полная чаша, лад и порядок. Ей-Богу, пчеле на зависть!

Сам Сухотин, Петр Николаевич, известный чудак и такой балагур — поискать да мало: где б он ни появился, в любом обществе и когда угодно, стоило ему раскрыть рот и уж хохот не умолкал. Хохотали знакомые и незнакомые. Безразлично.

А странно было лицо совсем седого, ничуть не меняющегося балагура. Шли годы, переваливало ему за сорок, а одно и то же выражение, словно отпечатанное раз навсегда, лежало на его неподвижных застывших чертах и странно, когда, надрывая живот, всякий со смеха покатывался по полу, лицо мертвенно-бледное чудака оставалось спокойным — ни улыбки, ни смеха, только жуткие блески во впалых остановившихся глазах, и не менее странно, что речь его, сбивавшая все и всех с панталыку, отдавала каким-то механизмом, как у говорящей куклы, и когда кто-то попробовал записать эту речь, то на бумаге вышли самые простые ходовые слова и уж совсем не смешные.

И несмотря на такой, казалось бы, неподходящий вид Петра Николаевича и неуместность каких-либо шуток, никому в голову не приходило спросить себя: в чем же тут се-

крет и отчего бывает так смешно и весело? Только редкий любитель отгадывать загадки, — такой всегда найдется, — зарвавшись, пытался давать объяснения, метя, как это водится, не в бровь, а в самый глаз: тут и игра физиономии, и искусная мимика, и необыкновенно смехотворный склад речи, и необыкновенно острый взгляд — ясно, явно, понятно. К счастью, все подобные, набившие оскомину объяснения шли куда-то в прорву: никто ничего не хотел спрашивать да и незачем было. Смешно, весело — чего еще?

Петр Николаевич нигде не служил и никакими общественными делами не занимался. Одно время выбрали его уездным предводителем. Это памятное Сухотинское предводительство скоро всякому вот где стало! Не оттого, чтобы там плохо было или неприятность какую от него видели, совсем напротив. Веселее года не запомнят: все дела были обращены в какую-то потеху, в один сплошной смех и умору, но в результате такая вышла путаница, такие всплыли несуразности и еще Бог знает что — не расхлебашь. И, не зная Петра Николаевича, чего доброго, могли бы в лучшем случае заподозрить, что он не в своем уме, да так, кажется, в Петербурге кто-то и выразился не то в гостиную, не то на докладе. Только счастьем все окончилось благополучно.

Живой человек не без странностей, у всякого своя повадка. Ну и Петр Николаевич не исключение.

Петр Николаевич до страсти любил все прибрать к месту, притом так все хитро делал, что после найти прибранную вещь чересчур мудрено было, а то и совсем невозможно: много вещей пропадало и очень нужных. Затем он любил наводить порядок, передвигая с места на место столы, стулья, этажерки, перевешивая картины, переставляя в библиотеке книги, в чем собственно и заключались его постоянные занятия с утра и до обеда ежедневно; за обедом, предпочитая кушанья сладкие, как потроха, мозги, ножки, и не зная меры, он частенько объедался и потому вечно жаловался на живот; любил топить печи — все зяб — и с длинной кочергой расхаживал обыкновенно от печки до печки, помешивая жар; любил поговорить с прислугой и мужиками, и хотя разговор всегда начинался словно бы и о делах,

но в конце концов выходила одна чепуха, что влекло за собою очень нежелательные для общего порядка последствия: Петра Николаевича не только никто не боялся, но — что уж таить! — веры ему не было; кроме того, дуря и чудя, он обещал прямо-таки неисполнимые вещи: всем и каждому он дарил свою землю, правда, меру не очень крупную — три шага в длину и шаг в ширину — такой шутовской кусок. Что еще?.. Да... у него была страсть резать кур и резал он кур не хуже заправского повара: птица у него с перерезанным горлом не хлопала крыльями и не бегала безголовая, как это часто бывает при нелегкой руке; и еще он любил посмотреть на покойника, и чем отвратительнее было лицо мертвого, чем сильнее чувствовалось разложение, тем находил он покойника привлекательнее. Всякий раз, когда на селе умирали, батюшка о. Иван давал знать Сухотиным, тотчас закладывался экипаж и Петр Николаевич, все бросив, летел к тому месту или в тот дом, где случался покойник.

Такого рода страсти, как выражалась Александра Павловна, труня под веселую руку над своим избалованным мужем, в котором, кстати сказать, души не чаяла, касались в действительности таких чисто домашних подробностей, что упоминать о них представлялось бы совсем излишним, если бы не припутался сюда один вздорный слух, задевающий честь и репутацию всего Благодатного.

Года два назад в Благодатное заехал один старый приятель Петра Николаевича, тоже бывший петербургский лицеист, не выдавшийся с своим другом с самого Петербурга. Причина появления такого гостя так и осталась невыясненной: у него никто не спрашивал, а его камердинер толковал в лакейской очень сбивчиво, — не то генерал послан умирать, не то делить землю. Впрочем, все это не так уж важно: разве не мог старый приятель приехать просто из любопытства?

Гость был принят радушно. Встретила его Александра Павловна, сожалевшая, что в Благодатном не все в сборе — дети разъехались, и что ему будет скучно, но гость был так весел, много рассказывал о Петре Николаевиче, о той тес-

ной дружбе, какой они были связаны в Петербурге в ранней молодости, и, кажется, ни в каком обществе не нуждался, с нетерпением ожидая своего друга. Петр Николаевич, как на грех, с утра пропадал где-то на деревне у какого-то покойника и только поздно вечером вернулся домой. Друзья встретились. И тут произошло что-то неладное: видно было, что гость потрясен, испуган, что у него поджилки трясутся. Или не узнал он своего друга, — или и узнал, но нашел такую перемену, что голова пошла кругом, — или заметил в лице, в поступи и в речи что-нибудь совсем для себя неожиданное, невероятное, невозможное — в чем же дело? — А кто ж его знает! — Гость отступил на шаг и, замахав руками, вдруг лишился чувств.

Молчаливый и печальный, подозрительно озираясь и поддакивая на все, что бы ни говорилось, и с той жалкою улыбкой, какою улыбаются люди, попавшие нечаянно, негаданно в самые обыкновенные житейские тиски, которые каждую минуту могут смять тебя в лепешку, гость прожил с неделю и в одно прекрасное утро, лопоча какую-то ерунду и показывая какие-то бумаги вверх ногами, остервенелый, чуть ли не в одном белье и без багажа, ускакал из Благодатного. А вскоре после его отъезда пошли суды и пере-суды и в городе и среди соседей.

Говорилось, что ничего особенного в Благодатном нет, что Сухотинский прославленный дом как дом, да, пожалуй, даже с изъяном — одна половина очень заметно заново переделана после пожара, ну и сад, как сад, старый, тенистый — правда, но таких садов, если поездить по России, сколько хочешь; поля, лес — что говорить! — поля просторны, лес хороший, да тоже не какая-нибудь невидаль; а люди — даже совсем дрянь: беднота, земли мало, то переселялись, то опять вернулись, а во время беспорядков, если дом не сожгли и лошадям глаза не повыкололи, как это сделали у соседа Бессонова, то все-таки поговаривали и о том, чтобы дом сжечь, добро истребить да отобрать Сухотинскую землю. Что же касается Петра Николаевича, то, перечисляя все его странности, несли такую крещенскую белиберду, что просто повторять совестно. И в конце концов заказывалось

другу и недругу даже в самой крайней нужде бывать в Благодатном: место нечисто.

Кто-то из добрых друзей советовал Александре Павловне жаловаться губернатору, но она и слышать не хотела: во всех слухах, на ее взгляд, правды ни капли не было, да и не стоило историю поднимать. В самом деле: мало ли что какой-нибудь подозрительный со своего подозрительного ума не сочинит и не выдумает — ему бы только валить с больной головы на здоровую! Да притом же и разговоры как-то само собой прекратились — все-таки люди не так глупы, как кажутся.

И у всех одно осталось в памяти: Благодатное — рай земной, семья Сухотиных — примерная, Петр Николаевич — известный чудака и такой балагур, поискать да мало.

Глава семьи — Александра Павловна Сухотина; ее бдительному глазу приписывались порядок и обилие Благодатненского хозяйства. Твердого характера, скупая на слова, умела Александра Павловна держать всех в струнку и не потакать. Ее боялись и слову ее верили. Замуж она вышла рано, по любви, и с первого же года замужества пошли дети: сын и три дочери, все погодки. Жизнь Александры Павловны проходила в заботах и делах, которых с каждым годом, по мере того, как подрастали дети и отношения хозяйственные путались и усложнялись, все прибывало и так получалось, что забот не оберешься и всех дел не переделаешь. Но она готова была взвалить себе на плечи какую угодно тяжесть, лишь бы хорошо было мужу и детям. И никто не жаловался — ни муж, ни дети.

Вечерами, счастливая и веселая, она садилась за рояль: сильные пальцы ее, уверенно касая клавишей, вызывали большой праздничный звук — силой и радостью наполнялись высокие комнаты.

И с какой завистью посмотрел бы отчаянный бродяга из тьмы своего бездомного белого света в освещенное окно на нее, довольную своим кровом, и каким проклятием проклял бы свою судьбу неудачник, случайно встретив ее счастливый взгляд, и с какой покорностью и верой, услышав ее голос, пошел бы за ней тот, кто зовет себе поводыря!

Контр-адмирал Палеолог, чье суждение, по меткости своей, облетало все без исключения усадьбы и повторялось городскими щеголями, крестный отец младшей Сони, называл Александру Павловну обольстительной брюнеткой. И, как всегда, был прав. И кто бы мог поверить, что эта обольстительная брюнетка, сумевшая устроить дом и жизнь дома — тихий согласный очаг, почувствовала себя однажды самой несчастной из людей. Правда, с тех пор утекло много воды, удача и счастье стерли всякую память, а в душе ее осталась только радость, только уверенность в себе и в своих силах. Пятнадцать лет назад, в год рождения Сони, Благодатное вдруг очутилось на волоске от гибели — дом чуть было не сгорел, Петр Николаевич чуть было не умер, и всех спасла Александра Павловна.

Осенью и в зимние месяцы, когда разъезжались дети, Александра Павловна проводила время глаз-на-глаз с мужем; она смотрела на него так, как двадцать лет назад, с тою же любовью и нежностью, и видела его таким, как был он двадцать лет назад, влюбленным, — складка, явственно означавшаяся между ее темных бровей, сглаживалась. А он, высохший, длинный, как жердь, седой, с мертвенно-бледным лицом, уставясь своими неподвижными в жутких блестящих глазах, стоял перед ней, оскалив зубы.

— Я тоски не знаю, — повторял он в тысячный раз, — мне легко! — а в голосе слышалось: «мне все равно, мне ничего не надо», но она не слышала этих жутких слов, они звучали ей как те тогда под первый поцелуй, и она, слепая от любви, отвечала ему страстью сохранившейся женщины.

Ой, как хохотал бы подглядевший в такие минуты через окно над этой уморительной, сумасбродной сценой, но, кто знает, возможно, что, и не пикнув, лишился бы чувств, как тот гость — старый друг Петра Николаевича.

В Благодатном готовилось большое событие. На Святках назначена была свадьба старшей дочери Лиды, окончившей в прошлом году институт. Жених был известный крупный помещик Рамейков. Все ждали с нетерпением этой свадьбы. Рассказывали, что пир выйдет на славу и что Петр Николаевич перерезал чуть ли не всех кур. Благодатное принимало торжественный вид. Гости съезжались загодя, и не мало очень почтенных лиц прямо обезживотели в обществе Петра Николаевича, который казался особенно в ударе на рассказни и зубоскальство. Александра Павловна сбилась с ног. Все надо было приготовить. Рук не хватало.

Наконец собралась вся семья: из Петербурга приехал старший сын Миша — студент-первокурсник, из Киева вторая дочь, институтка Зина, и гимназистка Соня из губернского города. Наступала важная минута. И, надо отдать справедливость, свадьба вышла веселая. Конечно, не обошлось без шутовства: благословляя образом перед венчаньем, Петр Николаевич, видимо, собирался сказать напутствие, но после довольно томительного молчания ограничился кратким и весьма непечатным пожеланием в одно слово и от этого крепкого слова жених едва поднялся на ноги — смех буквально душил всякого. В церкви Петр Николаевич шепнул батюшке о. Ивану, что во сне яйца в яме видел, и хотя о. Иван не мог не знать дурного значения сна, но тогда показалось ему все в высшей степени несообразным. И так все были настроены, что о. Иван не выдержал и, обрвав молитву, фыркнул на всю церковь, а за ним дьячок, державший теплоту, заржал уж без всякого стеснения и — пошлѐ: не то венчали, не то гоготали, как в балагане.

После свадебного ужина молодые уехали в Москву. Но в Благодатном веселье продолжалось. Оставшаяся молодежь затеяла спектакль, ряжеными ездили по соседям. На пруду сделан был каток и горка. Тут на катке устраивались отчаянные состязания.

Миша Сухотин считался первым конькобежцем. И действительно, стройный и необыкновенно гибкий, с поразительной ловкостью и искусством он проделывал головокружительные фигуры. Не отставала и Соня, девочка быстрая — огонек, а ее звонкий смех разливался заразительно звонко в Крещенские звездные ночи. Любо было смотреть на эту пару, когда об руку они бежали с горки до дальних верб. Этого нельзя сказать о Зине: она имела больше сходства с Лидой и, как Лида, была сдержана и молчалива, пожалуй, даже застенчива, но не без характера. «В мать дети пошли», — отзывались тетушки и дядюшки и старые знакомые, хорошо знавшие Александру Павловну.

Подходило Крещение. Товарищи Миши и подруги девочек стали разъезжаться. И Сухотиным уж пора была готовиться в путь, но в деревне было так хорошо, что об отъезде не хотелось и думать.

Под Крещение Миша и Соня, когда зажглась Богоявленская звезда, выбежали на каток, где проводили они свои последние вечера. Ночь выдалась светлая, усыпалось звездами голубое поле и мороз ударял так, что лед трескал, морозами щипало щеки. Но они рады были хоть всю ночь бегать. И вдруг Миша, раскатившись, упал навзничь. Соня думала, что он нарочно, дразнит. Нет. Подняли, отнесли в дом. Бросились за докторами. Через три часа помер. Вот было горе.

В день похорон вечером, когда в доме было особенно пусто и всех одолевало то тягостное утомление, от которого и дело из рук валится и места себе не находишь, в Благодатное с нарочным получилась тревожная телеграмма от Рамейковых: Александра Павловна вызывалась немедленно в Москву.

В ту же ночь Александра Павловна уехала.

Зина и Соня были в большой тревоге. Петр Николаевич напротив: он по-прежнему, как ни в чем не бывало, продолжал свой образ жизни; разница была разве в том, что кур резалось больше, но это объяснялось тем, что Зина, простудившись на похоронах, все недомогала и ее надо было держать на диете. Да еще — ну это чудачество! — к обеду

велено было подавать большущий бычачий язык, оставшийся еще со свадьбы.

Наконец из Москвы пришло известие: Лида повесилась. Вот было горе.

Второго покойника опустили в Сухотинский склеп, а в доме стало уж так пусто и уж так тягостно, — Александра Павловна бродила, как тень.

Она не могла простить себе, что так легко согласилась на этот брак, когда знала всегда Рамейкова за человека легкомысленного и даже подлого, да, подлого, — почему не отговорила Лиду? Ведь Лида ее послушала бы. Да, она сумела бы убедить, она знала много самых отвратительных, самых постыдных фактов, о которых шептались посторонние даже у них в доме в день свадьбы.

Но теперь было уж поздно: и простишь или не простишь себе — делу не помочь. Александра Павловна чуть не кричала.

Петр Николаевич выглядел несколько утомленным, но едва ли причиной был сам по себе факт смерти: смерть сына, как и смерть дочери, вызывали в нем то обычное для него чувство любопытства, какое он испытывал вообще к покойникам и совершенно ему неизвестным. Утомление сказывалось скорее от бессонной ночи. Гроб привезен был в Благодатное закрытым, но он настоял на том, чтобы гроб вскрыли, и, когда сняли крышку, он уж сам открыл лицо дочери и простоял над нею, не отрывая глаз, ночь. Теперь в своем зеленом бутылочного цвета халате Петр Николаевич дремал в кресле.

Так прошла ночь после похорон.

Состояние Зины между тем ухудшилось. Она слегла. Вызванные доктора сказали, что у ней тиф. И все Благодатное затаилось, дожидаясь рокового кризиса. Кризис наступил. Созвали консилиум. Надежды нет.

В доме заведен был строгий порядок, и обычно, когда съезжались дети, этот порядок поддерживался ими с их раннего детства: так, Лида набивала отцу папиросы, Зина заводила в столовой часы. Теперь папиросы набивал старый камердинер Михей, а часы стояли.

И видно было, Зина все помнила и ее это мучило и еще мучило ее то, что, больная, лежа уж неделю в кровати, она нарушает какой-то порядок и лучше было бы, если бы она лежала в больнице, но сказать об этом она не могла, — язык отнялся у ней.

Из последних сил знаками Зина попросила Соню дать ей бумагу и слабой рукой написала букву «б», — карандаш выпал из рук. И она умерла. Вот было горе.

3.

Третий гроб унесли из дому.

В церкви на отпевании, прощаясь с дочерью и в последний раз глянув на это покорное обреченное лицо с плотно сжатыми, как сталь синими веками, запекшимися измученными губами, Александра Павловна вдруг все вспомнила и не то недавнее счастливое, а то прошлое тайное, что никогда не вспоминалось ей столько лет, и заплакала крепко и уж старой старухой, сгорбившись, пошла прочь.

— Разве я думала, что придется таких хоронить? — плакала она, тряся головою.

А вместо утешения совесть, еще больше горбя и бороздя ей морщинами кожу, говорила ей, что некого винить, нет другого виновного, кроме нее, все сама, одна, виновата кругом.

Соня весь день не отходила от матери, жалась к ней и пробовала утешать и плакала и большими глазами смотрела — страшно становилось за перепуганную девочку.

— Мама, что ты говоришь?! — спрашивала она, пугаясь своего голоса.

И мать ей рассказала.

Пятнадцать лет назад, в год рождения Сони, Александра Павловна взяла детей и поехала к своей матери — первый раз выехала она из Благодатного, оставив дом и мужа. И вот приснился ей сон, будто муж ее в алтарь входит. Страшно ей стало: не заболел ли муж, не умер ли? На другую

ночь опять сон снится: сломалось обручальное кольцо. И опять стало страшно: муж умрет. И стала она домой собираться.

— Собралась, еду, — рассказывала Александра Павловна, — а сама, не переставая, Богу молюсь, все молюсь Богу: если уж суждено горю, так сделай так, пускай дитя умрет одно, или двое или даже трое — Миша, Лида, Зина, только бы он жив остался. Что ж, думала, маленькие они, ничего, только бы он жив остался. Про тебя молчала, не могла. Приезжаю домой и что же оказывается? — в доме пожар был, а отец твой при смерти лежал. Услышал Бог молитву: спас и дом и отца. Обрадовалась я и мы зажили. А теперь... Это потому, что тогда молилась. Разве я думала, что таких придется хоронить?

Александра Павловна мучилась, не отпускала от себя Соню.

Петр Николаевич казался озабоченным и растерянным: какая-то мысль точила его и беспокоила. Делать то, что он делал изо дня в день, он уже не мог. Вечером он попробовал было передвинуть для порядка шкаф в столовой, — отодвинуть-то отодвинул, но так и бросил его стоять на тычке; схватился за кочергу, но и с печками дело не пошло; несколько раз заходил в спальню, присаживался на кончик кровати и вдруг подымался, оставляя убитых горем жену и дочь.

— Все потерялись — Миша, Лида, Зина и Соня, и все нашились, одной Сони нет, — бессмысленно и жутко бормотал он, неизвестно к кому обращаясь, не то к Михею, не то к печнику Кузьме, не то к экономке Дарье Ивановне, заменявшей по хозяйству Александру Павловну.

Поздно ночью Петр Николаевич утомился и ушел к себе в кабинет. Камердинер Михей, как старый дядька, не оставлял его ни на минуту.

Тревожно и жутко было в доме, все углы стали холодными. Куда все девалось? Где мир, смех и счастье? Три гроба — три смерти морозом заледенили теплый огонек очага.

Совершившиеся за какой-то месяц события — эта Сухотинская история — тотчас была поднята на язык. — Тут положительно дело нечисто! — так заговорили не только в соседней Чернянке и не в соседней Костомаровке, но и в Британах и даже в Мотовиловке и, конечно, повсюду в городе. Как, что, почему? И давай — и пошло. Всю жизнь Благодатненскую вверх дном перевернули, по косточкам перебрали и бабушек и тетюшек Сухотинских и то, чего никогда не было, и то, что было, но совсем не с Сухотиными, а скажем, ну с Муромцевыми. Все на свет Божий вывели! — глядите, господа, и судите, нам-то все уж давно известно!

Ухватились почему-то за того таинственного гостя-генерала — друга Петра Николаевича, который, Бог знает, отчего сбежал тогда из Благодатного. И сразу же все решили, что этот самый генерал все знает и стоит только его допросить и станет все ясно, как на ладони. Но где его достанешь? Туда-сюда: руки опускаются. Кто-то сказал: Перевердеева весь Петербург знает. Стало быть, он в Петербурге? Конечно! Срочно был послан от губернатора запрос в Петербург. Чуть ли не в тот же самый день получилась справка: доносилось, что генералов в Петербурге сколько угодно и есть с такими фамилиями, что даже не совсем ловко в дамском обществе представляться, но Перевердеева никакого нет. Может быть, Переверзев?

И пока навели справки о каком-то Переверзеве, судили и рядили вкривь и вкось, кто-то железный, не спрашиваясь, никому не отдавая отчета, уверенно совершал свое верное дело, кто-то беспощадный семимильными шагами из дальне-далека шел творить суд и расправу по-своему.

Без Александры Павловны ничего не клеилось, и она через силу, отрываясь от своих тяжелых дум, входила в мелочи жизни. Она считала себя не вправе бросить на произвол судьбы дом, мужа и дочь, — мужа, из любви к которому она принесла такую огромную жертву, дочь, из люб-

ви к которой она пожертвовала бы сейчас всем своим покойем.

Да не ошиблась ли она, когда, молясь, отдавала троих старших, а Соню забыла, и не забыла, а нарочно не помянула? Зачем она тогда не помянула Соню? И все бы уцелели. А что если бы все четверо умерли? Нет, этого не могло быть; ведь она все отдала, а кто отдаст все... Зачем она не отдала всех? — вот вопрос, который сверлил ее и не отпускал.

А ну как и Соня умрет? Она же вот сказала сейчас, что отдает все, а стало быть и Соню? — вот вопрос, от которого, как помешанная, металась она, боясь думать.

— Соня, Соня, где ты? — спохватывалась Александра Павловна, ища дочь, которая не отходила от матери.

К мукам за себя, за свой поступок, к мукам за единственную дочь присоединялось беспокойство о любимом муже, жизнь которого держалась на трех дорогих смертях. Петр Николаевич еле двигался, он уж не выходил из кабинета, он посинел весь, волосы примазались и блеклая мертвая кожа, точно отделившаяся от тела, висела на нем мешком.

По дому по всем комнатам пошел тяжелый дух.

Дом был старый, под полом водилось множество крыс — их было целое поколение и нередко случалось, что какая-нибудь древняя крыса дохла. Вот, должно быть, почему шел невыносимый запах. В другое время Петр Николаевич непременно нашел бы то место, где валялась падаль, пол подняли бы и падаль убрали бы, но теперь не до того было.

Все, кому случалось в это время быть в Благодатном, чувствовали, что так жизнь продолжаться не может, что рано или поздно — какой, все равно, — а должен отыскаться выход, и ждали. А ждать еще положено было три дня и три ночи. И два дня и две ночи уже прошли.

В субботу вечером батюшка о. Иван служил в доме всенощную и накадил изрядно — ладана не пожалел. После закуски уехал, и все не без угара разошлись спать.

— Ночью, — так после рассказывал Михей, — слышу я, барин меня кличет. — «Михей, говорит, голубчик, принеси мне петушка, Христа ради, я тебя никогда не забуду». — А зачем, говорю, вам, барин, петух в такую пору? Ночь на дворе. — А он только глазом подмигнул: понимай, значит, зачем. Пошел я в курятник, поймал петуха пожирнее, принес и нож подаю. Взял барин петуха, резать стал, а сил-то уж нет — петух все трепыхается. Ну, кое-как с петухом закончил, — крови целая лужа и на полу и на себе. Будто и лучше стало. — «Хорошо бы, говорит, Михей, покойничка посмотреть!» — Господь с вами, говорю, какой теперь покойник, эка невидаль! — а у самого по спине мороз подирает — вижу с барином что-то неладно, ровно что его душит, так зуб о зуб и колотит. — «А где Соня?» — да на меня как посмотрит — умирать придет час, не забуду, — так посмотрел. — В барыниной спальне, говорю, с барыней. Тут барин видно успокоился, а я отошел да и прилег.

— Проснулась я ночью, — рассказывала после эконома Дарья Ивановна, — слышу, будто кот мяучит. А откуда, думаю, ему взяться? Помяукала — не отзывается, шипит.

«Петух, действительно, пел», — показывали другие.

Нет, и петух не помог, а какой петушок был славный! Сил больше не было, сейчас задохнется — Петр Николаевич вдруг привстал на кровати:

— Все потерялись — Миша, Лида, Зина и Соня, и все нашились, одной Сони нет!

И одна заволакивающая мысль найти Соню сейчас же, сию секунду, подняла его на ноги и повела. Не выпуская ножа из рук, он пополз из кабинета в спальню.

Дверь в спальню оказалась полуоткрыта. В спальне было светло от лампадки. Соня лежала с матерью на кровати лицом к двери.

— Курочка, куронька моя! — шептал старик, подползая к кровати.

Соня открыла глаза. Села на кровать. И, глядя на отца, скрюченного, измазанного кровью, в ужасе вытягивала свою лебяжью шейку.

— Куронька, куряточка! — шептал он, сисясь подняться на ноги.

И — поднялся.

Лебяжья шейка в луче лампадки еще больше вытянулась под сверкнувшим ножом — один миг — и вишневым ожерельем сдавило бы лебедь, но уж не мог, силы оставили, — нет спасения: нож выскользнул из рук и вместе со склизлой кожей, отделившейся от его пальцев, упал на ковер.

Старик, дрогнув, присел на корточки, весь осунулся, все в нем — нос, рот, уши, все собралось в жирные складки и, пуфнув, поплыло. — И плыла липкая кашлица, чисто очищающая от дряни белые кости.

Голый, безглазый череп, такой смешливый, ощериваясь, белый, как сахар, череп стал в луче лампадки. И в ту же минуту огонь-пламя, распахнув пламенем дверь спальни, красным глазом кольнуло мать, обомлевшую дочь, мертвую голову и, плануя языком под потолок, развеялось красным петушком и зашумело.

Дом горел.

Н. Мельников

Кто же он?

Is not this something more than fantasy?
What think you of it?

Hamlet. I. 1

(Посвящается А. С. Хомякову)

I.

Я лишился друга. Знавшие его, не могут обвинять меня в пристрастии: то был ангел, ниспосланный на землю и отозванный прежде, нежели что-либо человеческое успело исказить его божественную природу. Стоило взглянуть на возвышенное, всегда восторженное чело его, чтобы прочесть на нем неизгладимое свидетельство его небесного происхождения...

Скорбь друзей покойного была невыразима; но из живой и сильной она обратилась постепенно в тихую грусть: печальное и вместе сладостное наследство! Прошло около года после его кончины; наступила весна. Обновленная природа обновила и нас. Сердца наши растворились для радости; миновала и грусть в свою очередь. Житейские удовольствия, мирские заботы стали опять завлекать нас в свои обманчивые сети. Исчезло мало-помалу то невольное самоотвержение, с каким забываешь о себе после великой потери, и живешь одною памятью об одной. Но и в этой памяти, разве не проглядывает чувство эгоизма, которое следует за всякой несбывшейся надеждой?

Однажды, спустя около года после кончины друга, я прихожу в Банк, и в ожидании выдачи денег, смотрю на пеструю, движущуюся толпу, которая ежедневно теснится в этом здании. Там встречаются все сословия, начиная от вельможи, закладывающего свое последнее имение, до

простого селянина, который кладет в рост избыток своих скудных доходов. Меня развлекало это движение, коего пружиной была потребность денег, денег, и еще денег. Двери почти не затворялись; знакомые и незнакомые лица мелькали передо мною: то веселые, то пасмурные, а чаще невыразительные, они появлялись и исчезали, как тени в фантасмагории. Но вот двери отворяются настежь; молодой, осанистый человек величаво сбрасывает с себя плащ на руки лакея и быстро проходит чрез залу в Совет Банка. Не прошло пяти минут, мой незнакомец возвратился из Совета; — я смотрел тогда прямо ему в лицо... то был покойный друг мой!

Не помню, как я вскочил со стула и подбежал к нему. Взгляд, брошенный им вскользь на меня, еще более уверил мое воображение, что то был покойник. Я остолбенел, силился промолвить слово и не мог, хотел кинуться в его объятия и стоял недвижим. Между тем он был от меня уже далеко; слуга накинул на него плащ, и он вышел из залы, столь же мало обратив на меня внимание, как и при входе.

«Нет! это не друг мой», сказал я в суеверном недоумении. «Он не прошел бы мимо меня, не пожав мне руки, не сказав приветливого слова. Да и может ли привидение являться посреди дня, в толпе людей? Духи любят мрак и уединение... Но ведь он жилец света; чего же ему страшиться людей, своих бывших собратий?»

Мои расспросы о незнакомце были на этот раз напрасны: никто из присутствовавших не знал даже его имени, и никогда не видал его в сем месте. Любопытство мое возрастало; но я должен был отложить свои разыскания до другого времени.

II.

Спустя несколько дней после этой встречи с чудным незнакомцем, сижу я в Театре. Подле меня одно кресло оставалось долго не занятым. Я положил на него шляпу, и

равнодушно смотрел на симметрические группы балетчиков и несносно правильные их телодвижения. Вдруг, как бы на крыльях ветра, вылетели на середину сцены Гюллен и Ришард, и громкие рукоплескания встретили сих двух любимцев московской публики. Я загляделся на них, и не чувствовал, что порожнее кресло было уже занято и шляпа моя сложена на пол. Вольность соседа мне не понравилась; я взглянул на него: то был человек лет тридцати, в очках фиолетового цвета, который, по-видимому, был занят одною сценой и не обращал внимания на окружающих. С досадою поднял я свою шляпу, и отрясая с нее пыль, нарочно задел ею соседа, чтоб за его невежливость отплатить тем же. Но он того и не приметил.

— «Как хороша!» воскликнул он наконец довольно громко.

— Кто? — спросил я, следуя за его очками, обратившимися тогда на соседний бенуар, где сидели знакомые мне дамы.

— «Эта декорация», — отвечал он хладнокровно.

Последние слова были произнесены им совершенно другим голосом, чем первые. Звуки одного поразили меня: то был голос покойного друга! Но я не верил слуху и старался разогнать мысль о сходстве, как обманчивую мечту. Однако, взоры мои невольно обратились к ложе с знакомыми дамами. Между ними была девушка лет осьмнадцати, бледная и задумчивая; казалось, она лишь из приличия смотрела на балет и не разделяла общего удовольствия. Читатели поймут ее равнодушие, когда узнают, что последние слова покойного друга к ней относились; что последний вздох его был посвящен отсутствующей подруге. Мне поручил он передать ей этот вздох, эти слова; — и я стал поверенным ее сердечных тайн. Она любила юношу со всею искренностью первой девственной любви, и при его жизни не смела в том ему сознаться. Но горесть исторгла из ее груди тяжкое признание, которое, как увядший цвет, назначено было украсить лишь могилу ее возлюбленного.

Я взглянул на девушку; взоры наши сошлись, и легкий румянец покрыл ее бледные щеки. Не желая продлить ее

замешательства, я обратился к соседу.

— Как находите вы балет? — спросил я у него.

— «По слухам, я ожидал лучшего», отвечал он пленительным своим голосом; «впрочем он обставлен порядочно. А как зовут танцовщика?»

— Ришард; разве вы видите его в первый раз?

— «Я приехал сюда недавно, после тридцатилетнего отсутствия».

— И потому вы должны худо помнить Москву, оставив ее в детстве?

— «Извините», отвечал незнакомец с важностью; «я уже долго живу на свете».

— Вам угодно смеяться надо мной, сказал я с некоторой досадой; судя по лицу, я не дал бы вам и тридцати лет.

— «Право? а слыхали ль вы о Графе Сен-Жермен?»

— Что хотите вы сказать?

— «Горацио! много тайного на земле и на небе, чего философия ваша и не подозревает».

— Вижу, отвечал я с возрастающим неудовольствием, — что вам знаком Шекспир; но далее ничего не вижу.

Вместо ответа сосед мой снял свои фиолетовые очки и пристально посмотрел на меня. Я вздрогнул... Лицо его будто изменилось и помолодело; я узнал в нем юношу, столь разительно сходного с моим покойным другом.

— Бога ради, скажите мне... воскликнул я вне себя от удивления.

Незнакомец прервал меня. — «Молодой человек», сказал он вполголоса; «здесь не место говорить об этом».

И надев свои фиолетовые очки, он стал снова смотреть на сцену.

Балет кончился. Я вошел в бенуар, где сидела упомянутая мною девушка. С нею была ее мать, пожилая дама, которая, несмотря на лета, старалась идти наравне с веком. Строгая поклонница всего модного и нового, немного болтливая, она была, впрочем, добрая и радушная женщина, чадолубивая мать, и одна из тех рассудительных жен, которые, управляя втайне мужьями своими, позволяют им в публике говорить я и пользоваться призраком власти. Она

встретила меня кучей вопросов. «Ну, что же наш домашний театр? Вы верно будете на первой репетиции? Не правда ли, что мой Петр Андреич счастливо выбрал *Горе от ума*? Все говорят об этой комедии, и между тем она так мало известна. Не правда ли, что довольно оригинально выставлять перед нашей публикой ее же предрассудки? Ах, кстати, будете ли вы завтра утром на аукционе? Мы туда собираемся; моей Глафире страх хочется видеть дом и вещи покойного Графа».

Я спешил прервать ее; однако не знал, на который из вопросов отвечать прежде.

— «Покупать на аукционе я ничего не намерен», сказал я наконец; «но, если вы там будете...»

— По крайней мере для нас приезжайте туда, — прибавила Глафира тихим голосом.

— «Ну, а роль *Чацкого*, *comment va-t-il?*» спросила у меня Линдина.

— Она, право, выше сил моих, — отвечал я.

— «Не слушаю вашей отговорки», возразила Марья Васильевна; «завтра вечером репетиция — и вы наши. Мой Петр Андреич играет *Фамусова*, а Глафира *Софью*: это решено. Кстати, что твои глаза?» прибавила она, обратясь к дочери. «Что, все еще красны? Вообразите, простудила глаза, и не бережется. Смотри, не три же их».

Я знал, отчего красны глаза ее, и что это вовсе не от простуды. Желая прекратить сей разговор, я обратился было опять к роли *Чацкого*, как вошел в ложу Петр Андреич с веселым, лучезарным лицом.

— «Сейчас в коридоре я встретил», сказал он, «одного старого знакомого, и сделал важное приобретение».

— Что такое? Уж не купил ли Подмосковной, которую ты для меня торгуешь? — весело спросила Линдина.

— «Нет, душенька, не то; я отыскал отличного *Чацкого*, и если только позволите...

Последние слова относились ко мне; и я с радостью готов был уступить роль свою; но Марья Васильевна не дала мне отвечать.

— Какого Чацкого? — вскричала она. — Разве есть на свете Чацкие?

— «Не то, душа моя, ты меня не понимаешь. Вот в чем дело: когда я служил в Петербурге, тому назад лет тридцать, то был знаком по обществу с одним премилым человеком, не помню его фамилии; и как бы ты думала? Представь: сейчас встречаю его, ест мороженое...»

— Так что же?

— «Как что? Узнаю его с первого взгляда; чудак насколько не переменялся, — между тем как я успел уже состариться».

— Да ты, друг мой, не бережешь себя, — возразила жена с нежным упреком. — Возможно ли? Ездишь каждый день в клуб, какова бы ни была погода, и просиживаешь там до часу, до двух ночи!

— «Полно, полно, mon amour», отвечал муж; «вспомни, что когда бы я не был стариком, то не играл бы *Фамусова*. Ха, ха, ха, нашелся! не правда ли?»

— Конечно,— сказал я, улыбаясь; — мы были бы лишены удовольствия видеть вас в этой роли; но...

— «Комплимент, еще не заслуженный», отвечал довольный Линдин; «и в отместку, я лишаю вас роли *Чацкого*. Но», прибавил он, пожав мне руку, «мы с вами без церемонии, и вы будете играть *Молчалина*. Согласны ли?»

Я согласился, и Петр Андреич продолжал:

— «Завтра я познакомлю вас с моим старым приятелем. Прелюбезный человек! Несмотря на свой шестой десяток, он свеж, как не знаю кто, и охотно берет на себя *Чацкого*. Говорит, что уже несколько раз играл его».

— Ты, стало быть, все рассказал ему? — спросила жена; — но как же зовут твоего приятеля?

— «Он мне называл себя, да право не помню; что-то вроде Вышинян, знаю, что на *яи*. Но вот он, в третьем ряду кресел. Чудак! не смотрит».

— Не в фиолетовых ли очках? спросил я.

— «Ну, да; а разве вы его знаете?»

— Нет; но он мой сосед по креслам, — отвечал я в замешательстве.

Линдин того не заметил, и собирался ехать в клуб.

— «Сей же час зову к себе весь город на представление,» говорил он; «я введу его в лучшее общество, познакомлю с нашей публикой... Пусть все толкуют о Чацком Линдина и спрашивают наперерыв: кто такой, кто такой?»

— Но сначала, топ аті, узнай, как его зовут, — заметила Марья Васильевна. — Да, кстати, смотри, не засиживайся в клубе. Ах, постой, постой: что это у тебя на платье? — Соринка. Ну, теперь ступай с Богом.

Мы простились до завтра, и я, вместе с Линдиным, оставил театр.

III.

Утро на аукционе, вечер на репетиции: день, потерянный для самого себя; но сколько таких дней в жизни!

Дав слово Линдиным занять для них места, я отправился заранее в дом покойного Графа, где назначен был аукцион. Давно ли в стенах его раздавались клики веселия? А теперь слышен лишь стук молотка, да прерывистый голос аукционера.

Граф, коему принадлежали дом и вещи, назначенные теперь к продаже в уплату многочисленным кредиторам, был не последнею странностию прошедшего века. Богатый, знатного рода, он воспитывался и провел свою молодость в чужих краях. Душою принадлежал он Италии и Франции; к отечеству же своему был привязан только длинной родословною нитью, на нем же порвавшейся, да десятком тысяч душ, кои успел прожить — или правильнее — променять на несколько бездушных статуй. Он принадлежал к числу тех любителей и знатоков искусства, которые, проведя полвека в Италии, вывозят оттуда несколько поддельных оригиналов и антиков, оставляют там половину имущества, и возвращаются в отечество с тем, чтобы остальную половину пропустить сквозь руки менял, скульпторов Кузнецкого моста и рыцарей промышленности всякого рода.

К чести нашего века, эти вельможные знатоки образовательных искусств начинают теперь переводиться; может быть, и не успехи истинного просвещения тому главной причиной: но почему не утешать себя приятной мечтою, что экономическим духом нынешних бар мы обязаны не одной расточительности их отцов, но и благотворному влиянию наук и мнения...

Как бы ни было, в наше время свекловица, откупа, многопольная система и пр., заступили место картин, статуй и антиков. Мне скажут: не так ли мы разоряемся на экономии, как наши деды разорялись на искусствах? Нет, господа! В неудачных попытках свекловичного фабриканта я вижу залог будущих успехов; капиталы, обращенные в *humus* новомодным хлебопашцем, еще не совсем потеряны для детей его. Опытность покупается дорого, весьма дорого; однако цена, какую она нам достается, никогда не превышает благодеяний, получаемых от нее самым отдаленным потомством. Но прошу сказать мне в свою очередь: какую пользу принесли те, кои расточили богатые свои отчины на картинные галереи, на библиотечные редкости, на музеи, единственно для того, чтобы по их смерти, а иногда и при жизни удары аукционного молота раздробили на мелкие части их огромное, но суетное стяжание? Пробудили ль они вкус к изящным искусствам? Образовали ль они художников? Доставили ль пособия ученым? Или, по крайней мере, завещали ль они своим согражданам эти памятники тщеславия и, вместо того чтоб оставлять их жадным и глупым своим наследникам, посвятили ль хотя что-нибудь на общественное употребление? Нет, они не думали об этом; они не разочли, как дешево могли бы купить благодарность потомства, которое забыло бы их блудную расточительность, и сохранило бы в незлобной памяти одно благое, одно изящное их поступка.

Покойный Граф, подобно многим другим, не рассудил за нужное передать потомству имя свое наряду с именем Демидова; и его

Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке.

Двор великолепного его дома был весь покрыт экипажами. Многочисленная публика толпилась у входа, на лестнице; в зале, посреди коей был устроен обширный амфитеатр, зрители и покупщики теснились живописными группами вокруг арены, в коей, вместо рыцарей и герольдов, восседал начальник аукциона. Перед ним, на длинном и широком столе, возвышались драгоценные вазы, канделябры, часы, небольшие статуи; по стенам залы висели картины; огромные фолианты лежали грудami на полу; впереди же аукционера, у большого венецианского окна стояли два колоссальных, порфирных сфинкса, безмолвные, но грозные свидетели зрелища, которое столь разительно представляло и блеск и суету мира.

Я не застал уже начала: многие вещи были раскуплены. Несмотря на многолюдство, мне удалось найти места на амфитеатре.

Вскоре после меня приехали и Линдины. В это время аукционер возвестил громким голосом о перстне с геммою отличной работы. Глафира просила меня поднести к ней перстень. Голова юноши, вероятно Алкивиада, выдавалась рельефом на белом халцедоне. Бедная девушка нашла в этом изображении большое сходство с милым ее другом.

— «Чего бы ни стоило, а этот перстень должен принадлежать мне», сказала она едва внятным голосом, наклонив ко мне голову. «Уговорите батюшку купить его для меня».

Петр Андреич, по любви родительской, скоро на то согласился. Начался торг. Как нарочно, на перстень нашлось множество охотников; но они надбавляли по безделице, и Петр Андреич стоял твердо в своем намерении. Наконец совместники его замолкли. Молот ударил уже в другой раз: Линдин торжествует, Глафира вне себя от радости. Простосердечная девушка заранее восхищалась своей будущей покупкой, как, Бог знает, каким счастьем. Воображение женщины, окрыленное любовью, игриво и своенравно: упадет ли роса на древесный листок и проведет по нем несколько

желтых полосок — ей мнится, что само небо начертало нерукотворенный образ ее возлюбленного; нарисует ли облако беглый прозрачный силуэт его, она не сводит глаз с облака; найдет ли она то же сходство в мелькнувшем лице, на картине, на камне — мечтам ее конца нет; она наслаждается обманом, она ловит призрак, как будто существование.

Линдин вынул уже бумажник и хотел отсчитать деньги, как чей-то голос, будто мне знакомый, выходивший из толпы посетителей, разом надбавил несколько сот рублей...

Зрители онемели от удивления; глубокое, продолжительное молчание последовало за страшным вызовом к аукционному бою. О Глафире и говорить нечего: внезапный страх овладел ею; бледная и безмолвная, она устремила на отца глаза свои, коими умоляла его не уступать противнику драгоценного ей перстня; но Линдин отказался надбавлять цену, и без того уже высокую. Я решился было войти с дерзким невидимкою в торговое состязание и заставить его отказаться от добычи; но кончено: роковой молот ударил в третий раз...

Вдруг Глафира помертвела и тихо опустилась мне на руки... Этот удар, казалось, решил судьбу ее жизни.

Между тем, как мы суетились около нее, незнакомый покупатель расплатился, взял перстень и исчез.

Глафира опомнилась и я, посадив ее в карету, возвратился домой с досадой, с грустью в сердце. Оно было полно темного, зловещего предчувствия.

IV.

Вечером, приехав к Линдиным, я был поражен болезненным видом Глафиры и необыкновенною веселостию Петра Андреича. Он не замечал, по-видимому, ни страданий дочери, ни скуки гостей и был занят одним Вашиададом — (Петр Андреич вспомнил наконец имя своего старого приятеля) — который приехал прежде меня и успел

уже со всеми познакомиться. Если бы не голос его да фиолетовые очки, я не узнал бы в нем важного, таинственного соседа моего по театру: он был говорлив, весел, развязан и нисколько не казался стариком в шестьдесят лет.

Это новое приобретение, как выражался Линдин, утешало его до крайности; он восхищался заранее своим Чацким. Причина его восторга была понятна; но что произвело такое сильное потрясение в Глафире? Ужели одна неудача в покупке перстня? Она не была так малодушна. Или голос Вашиадана пробудил в ней воспоминание о потерянном друге? Ясно было лишь то, что она скрывала в груди своей какую-то новую и страшную тайну; но изведать оную не позволяли ни время, ни благоразумие. Однако я решился спросить ее, в состоянии ли она играть сегодня. Этот вопрос вывел ее из задумчивости.

— «Разве вы почитаете меня больною?» спросила она в свою очередь.

— Не больною, но расстроенною от давешнего...

Она прервала меня с живостию: «не договаривайте; в самом деле, я не знаю, буду ли в силах играть теперь; но чтоб не огорчить батюшку, постараюсь преодолеть свою робость».

— И будто одну робость? спросил я испытующим голосом.

— «Господа, господа», провозгласил Петр Андреич, хлопая в ладоши; «что же наша репетиция? Все актеры налицо — начнемте».

Глафира поспешно удалилась, под предлогом приготовления к репетиции. Дамы и кавалеры, участвовавшие в комедии, последовали за нею в залу, где на скорую руку была устроена сцена из досок и размалеванной холстины.

Наконец, посреди жарких споров и совещаний, в коих громогласное я Петра Андреича раздавалось, словно пушечный выстрел во время мелкой ружейной перестрелки, началась репетиция. Уже умолкли звуки моей флейты — (читатели припомнят, что я играл *Молчалина*) — *Софья* окончила уже свою *posturne*, и резвая служанка, в предостережение барышни, давно завела куранты, а *Фамусов* еще не

являлся.

— «Что же, батюшка?» спросила Глафира у отца своего.

Но батюшка заговорился, и позабыл о роли. Однако он скоро опомнился, и понюхав табаку, побежал за кулисы. Смело взошел Петр Андреич на сцену, с удивительным присутствием духа открыл рот и — остановился. Напрасно суфлер шептал ему реплику: Петр Андреич стоял неподвижно. Наконец, вероятно для большего эффекта, он ударил себя по лбу ладонью и поспешно сошел в залу.

— Что с тобою, душа моя! — спросила заботливо Марья Васильевна.

— «Вообразите», отвечал он; «я и позабыл, что в хлопотах и приготовлениях не успел вытвердить роли».

— Прочитайте ее по тетради, — сказал, смеясь, Вашиадан; — а вперед будьте исправнее.

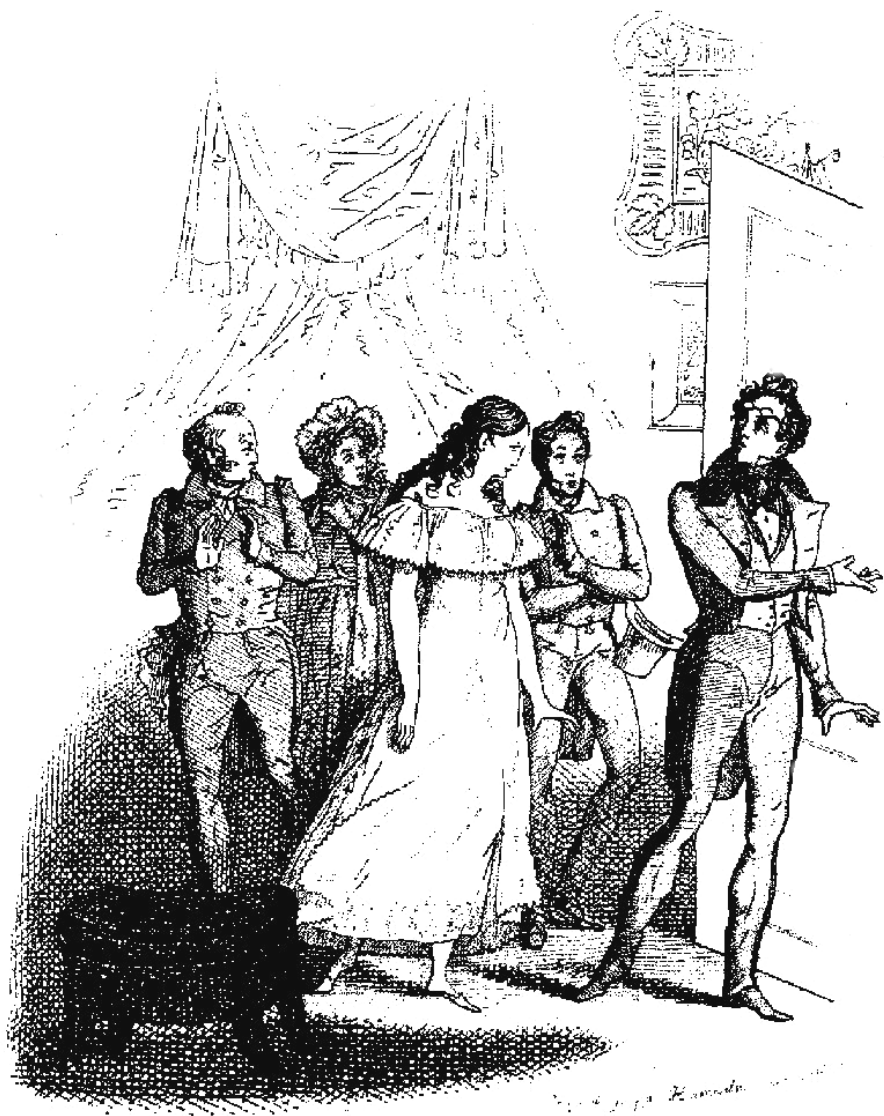
— «Не могу, почтенный друг; теперь я не найдусь, смешан».

— Но кто же сегодня заменит вас? — спросили разом и *Скалозуб*, и *Загорецкий*, и *Репетилов*, и прочие актеры. — Стало быть, мы собрались понапрасну?

— «Если вам угодно, господа», сказал Вашиадан, «то, чтоб не расстроить репетиции, я беру сегодня на себя и роль *Чацкого*, и роль *Фамусова*: они обе мне знакомы».

— Ах, благодетель мой! — воскликнул Петр Андреич, и чуть не задушил в своих объятиях услужливого приятеля.

Многие смеялись над хвастливостью Вашиадана и не верили тому, чтобы можно было сыграть вместе столь противоположные роли; но репетиция разрешила недоумения: игра его превзошла самые взыскательные требования. Вашиадан обладал в высочайшей степени искусством изменять по воле голос, физиономию, приемы: его искусство становилось еще ощутительнее в тех сценах, где *Фамусов* и *Чацкий* являются вместе. Зрители забывались и думали, что в самом деле видят два разных лица. В явлении второго действия, когда слуга докладывает о приезде *Скалозуба*, сосредоточенная язвительность и хладнокровие *Чацкого*, и между тем постепенно возрастающие жар и гнев *Фа-*



мусова, который, заткнув уши, не хочет и слышать молодого вольнодумца, произвели такое действие на восхищенного Петра Андреича, что он, забывшись, начал махать платком и закричал *Фамусову*: «да обернитесь — что за бестолковый!»

Эти слова произвели общий смех и на время отвлекли зрителей от чудного актера. Однако в следующих сценах он умел снова обратить на себя одного их внимание. Громкие, непритворные рукоплескания последовали за Протеем, когда в конце комедии, с криком: «карету мне, карету!» — он выбежал в середине двери и, пройдя в одно мгновение чрез кулису, очутился на месте *Фамусова* перед *Софьей*, вдруг изменил лицо, приемы, и голосом упреха, недоумения и почти сквозь слезы произнес последние стихи, столь комически довершающие сие оригинальное произведение.

Во весь вечер, чудный гость Линдина был в полной мере героем и душою общества. Нельзя было надивиться той свободе, с какою он, как бы сам того не примечая, переменил обхождение, разговор с каждым из собеседников, умел применяться к образу мыслей, к привычкам, к образованности каждого, умел казаться веселым и любезным с девушками, важным и рассудительным с стариками, ветреным с молодежью, услужливым и внимательным к пожилым дамам. К концу вечера он получил двадцать одно приглашение; однако, по-видимому, не желал умножать знакомств и уклонялся от зовов, говоря, что едет из Москвы немедленно после представления, в коем участвует лишь из дружбы к Петру Андреичу, старому своему приятелю.

V.

За исключением роли *Фамусова*, наша комедия шла так хорошо, что не для чего было откладывать представление. Из множества званых Петром Андреичем на сие последнее, малое число избранных удостоилось чести быть приглашенным на главную репетицию, назначенную накануне.

Петр Андреич суетился за всех, и как хозяин, и как актер. То расставлял он кресла, стулья, по чинам будущих гостей, — и ходя твердил роль свою; то приказывал слугам, где вешать лампы, и учил их передвигать декорации, поднимать и опускать занавес; то вдруг, остановясь посреди комнаты, снова, в сотый раз, повторял известный монолог *Фамусова*:

Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем...

— «Ах, кстати», продолжал он, обращаясь к лакеям: «чтоб завтра на вас были новые ливреи с гербовыми воротниками.— О, если бы мне удалось сыграть роль свою с толком, с чувством, с расстановкой! Но нет: не держится в памяти:

Ох, род людской! Пришло в забвенье!

И подлинно, сколько ни учу, ничего не вытвержу. Черт возьми Фамусова, а вместе охоту, на старости лет, тешить собою публику!»

Тут с досады бросал он тетрадь свою об пол, мерил шагами залу и с шумом гонял от себя всех, кто ни попадался ему на глаза.

В таких-то упражнениях Петр Андреич провел утро перед главной репетицией.

Посмотрим, чем занималась между тем Глафира в своей комнате. Роль свою она знала твердо; но тем не менее, выходя в первый раз перед многочисленной публикой, она робела при одной мысли, что оробеет. Напрасно уверяла себя, что снисходительные зрители постараются не заметить ее ошибок, и самые недостатки будут превозносить с похвалою. Но эта притворная снисходительность, эти даровые рукоплескания, плата за угощение еще более смущают ее: так она думала. Иной, под личиной снисходительности и даже, если хотите, энтузиазма, скрывает в таких случаях едкую насмешку; и тогда, как губы его произносят лесть,

на уме шевелится эпиграмма. Кому случалось быть в положении Глафиры, тот помнит, что самоучке-актеру самая похвала может казаться обидою.

И добро бы Глафира вступала на сие новое поприще по собственному желанию. Что же, если она это делала лишь в угодность отцу, из послушания; если, в то время как должна была казаться веселою или по крайней мере равнодушною, червь горести точил грудь ее? А притворство было неизвестным для нее искусством. Как дорого заплатила бы она, чтобы, вместо безжизненной Московской девушки, какова Софья, представлять на этот раз Офелию! Тогда бы она умела придать силу и истину каждому слову, каждому звуку, выходящему из уст ее; тогда бы на просторе разыгралось ее бедное сердце; она дала бы волю своему угнетенному чувству! А теперь, кто разделит с нею это чувство, кто поймет ее?

Долго предавалась Глафира сим мыслям. Вдруг страшное воспоминание мелькнуло в ее памяти. Между тем как она готовится на праздник, на веселье, милый друг ее, тому ровно год, испускал дух, помышляя о ней! Так, ровно год, как он умер, и с ним — умерли все ее надежды.

— «Прочь», воскликнула она с воплем отчаяния, «прочь это белое платье, эти розы, эти бриллианты: не хочу я их. Ох, я бедная!»

При сих словах она бросилась на постель, закрыла лицо руками и горько, горько заплакала. К ее счастью, никого не было в комнате, и она могла дать волю слезам своим. Нарыдавшись вдоволь, она встала, утерла платком глаза и подошла к туалету. В потаенном ящичке скрыт был портрет ее возлюбленного, снятый с него перед кончиной. Оглядываясь, вынула она из ящичка сие драгоценное изображение, с благоговением приложила к нему устами, и долго не могла оторвать их от оногo; потом, посмотрела с умилением на незабвенного, еще раз поцеловала его, и ее рука, казалось, не хотела разлучиться с священным для нее предметом. Наконец, во внутреннем борении, она тихо опустила портрет в верный ящик, промолвив трепещущим голосом:

«Теперь я спокойна. О, бедный друг мой! ты лишь *там* узнал, как горячо люблю тебя... Но нет нужды: клянусь быть твоею и на земле и в небе, твоею навеки».

Тут она взяла черную ленту, лежавшую на ее туалете, и вплела ее в свою косу. — «Пусть эта лента», сказала она, «будет свидетелем моей горести; — я оденусь просто; так и быть, надену белое платье: горесть в сердце; да и прилично ли ее обнаруживать? Однако, к головному убору не мешает и отделку того же цвета. Фи, черное! вся в черном! скажут наши. Но чем же другим почту я память супруга?»

Произнеся это слово, Глафира затрепетала. — «Супруга?» повторила она; «итак, вся жизнь моя осуждена на одиночество? *Там* соединишься с ним, говорит мне сердце; но *когда*? — Что если я проживу долее бабушки?»

При этой мысли, невольная улыбка появилась на устах прелестной девушки; и сие сочетание глубокой грусти с мимолетной веселостию придало лицу ее еще более прелести.

— Что поминаешь ты свою бабушку? — спросила у Глафиры ее мать, вошедшая тихо в комнату.

Та вздрогнула. Она сидела в то время пред туалетом, и голова ее матери мелькнула в зеркале. Ей мнилось, что это тень ее прародительницы. Однако, она скоро опомнилась и отвечала:

— «Ничего, маминька; я говорила теперь: что если проживу так долго, как бабушка? Я не желала бы этого.

— Бог с тобой! отчего так?

— «Что за удовольствие быть и себе и другим в тягость?»

— Кто же тебе сказал это, душа моя? Есть ли что почтеннее преклонного человека и приятнее той минуты, когда бываешь окружен детьми и внучатами, в которых видишь свою надежду и которые напоминают тебе о собственной твоей молодости?

— «Но для этого надо иметь детей и внучат», сказала простодушно Глафира.

— Разумеется: человек создан Богом, чтоб иметь их.

Глафира потупила глаза и не отвечала. Простые слова матери уязвили ее в самое сердце.

— «Я поклялась принадлежать *ему* одному и в здешней

жизни, и в будущей», подумала она, «мне не иметь ни детей, ни внучат!» — Тут она глубоко вздохнула.

— Что с тобою, сердечный мой друг? — спросила Линдина нежным голосом матери. — Бог послал мне добрую дочь; не думаешь ли, что пора бы иметь мне и добрых внучат?

— «Нет, маменька».

— Полно скрывать, плутовочка; неужели я не приобрела еще твоей доверенности? Открой мне душу, назови мне своего любезного.

Вместо ответа, дочь упала в объятия матери.

— Ты плачешь, душа моя? перестань, ты смочила мне всю косынку. Но что это? — вскрикнула она, — к чему на тебе черные ленты? Ты огорчишь этим отца; разве не знаешь, как часто он придирается к мелочам? Нет, сними, сними.

— «Не могу, милая маминька», отвечала глухим голосом Глафира, удушаемая рыданиями.

— Как не можешь? что это значит? — спросила с сердцем Марья Васильевна.

— «Маминька!» — Тут Глафира прижалась к груди матери сильнее прежнего, и слова замерли на устах ее.

— Вижу, это причуда и истерика. Выпей воды, и чтобы о лентах не было помину!

Глафира повиновалась, выпила воды: ее рыдания уменьшились, и наконец она сказала с твердостью:

— «Маминька, милая маминька! теперь не время обнаружить вам мою тайну; но клянусь, вы все узнаете. Только, Бога ради, ни слова батюшке!»

В эту минуту вошел лакей с докладом, что гости приехали к обеду; Линдина поспешила к ним; спустя несколько времени, пришла и Глафира.

VI.

На ее лице оставались еще признаки недавнего волнения. Но я один мог разгадать причину оногo. Проходя ми-

мо меня, она сказала тихо: «ныне день скорби для нас обоих».

Впрочем, она скрыла свою грусть как могла от глаз недалековидных тетушек и дядюшек, которые были заняты вчерашними новостями и сегодняшнею репетицией.

— «Что тебе за охота, Петр Андреич», сказал один пожилой родственник, «выбрать такую вольнодумную пиесу для своего представления?»

— А почему же не так? — спросил озадаченный Линдин.

— «И это ты у меня спрашиваешь? Прошу покорно! уже и ты заражен просвещением!»

— Что мне до вашего просвещения, — прибавила старая тетушка, — не в том сила: в этой комедии, прости Господи, нет ни христианских нравов, ни приличия!

— «А только злая сатира на Москву», подхватила другая дама, помоложе. «Пусть представляет ее в Петербурге — согласна; но не здесь, где всякой может узнать себя».

— *Tant pis pour celui qui s'y recommit*, — сказал какой-то русский литератор в очках. — Да это бы куда ни шло, *са serait meme assez piquant*; но какое оскорбление вкуса! Вопреки всем правилам комедия в четырех действиях! Не говорю уже о том, что она писана вольными стихами; сам Мольер...

— «Вольные б стихи ничего», возразил первый мужчина; «только бы в ней не было вольных мыслей!»

— Но почему ж им и не быть? — спросил один молодой человек, племянник Линдина.

Почтенный враг вольных мыслей вымерил главами дерзкого юношу.

— «А позвольте спросить, господин умник», сказал он, «что разумеете вы под этими словами?»

— Я разумею, — отвечал, покраснев и заикаясь, наш юный оратор, — я разумею, что вольные мысли позволительны и что без этой свободы говорить, что думаешь...

— «Мы избавились бы от многих глупостей? Не то ли хотели вы сказать?»

Сии слова были произнесены нараспев и таким голосом, который обнаруживал сосредоточенную запальчивость

и при первом противоречии готов был разразиться громом и молнией.

Линдин спешил отвратить грозу при самом ее начале. Он стал уговаривать старого родственника, чтоб он не горячился и тем не расстраивал своего драгоценного здоровья.

— «Слушай, Петр Андреич», отвечал тот после грозного молчания; «если завтра ты повторишь свое безумство и сыграешь перед публикой эту комедию, то я не я... увидишь!»

Тут он сжал зубы, схватил шляпу и вышел поспешно из комнаты.

— Желаю знать, чем кончится эта тревога; но я... я... о! я поставлю на своем, — сказал Линдин в великодушном порыве сердца. — Хотя бы тысяча родственников, а *Горе от ума* будет сыграно.

— «Однако...» заметила жена.

— Не слушаю, — отвечал муж.

— «Но если в самом деле эта пьеса заключает в себе вольные мысли?»

— Ну, сократим ее.

— «Она сокращена и без нас».

— Ну, в таком случае мы... этак я и не найдусь.

— «Всего лучше сократить ее вовсе», прибавил литератор, с улыбкой самодовольствия.

— *Bien dit*, — сказала дама помоложе.

— «Давно бы так», воскликнуло несколько старушек.

Линдин был как на иголках. Гордость и неуступчивость боролись в нем со страхом.

— По крайней мере, дайте сыграть ее сегодня, в семье — сказал он, смягчив голос, — а там... увидим.

Строгие тетушки согласились на капитуляцию, и Линдин оправился от недавнего поражения. В эту минуту Вашиадан вошел в гостиную.

— «Непредвиденные обстоятельства», сказал он после первых приветствий, «заставляют меня оставить Москву ранее предположенного мною срока. Я еду сегодня в ночь; однако, желая по возможности облегчить вину свою перед вами и хотя вполнину исполнить обещанное, я оставил

все свои дела, и последний вечер посвящаю вам: располагайте мною».

Линдин был вне себя от его любезности, а еще более от того, что в отъезде своего приятеля находил благовидный предлог к отмене представления, которого теперь столько же страшился, сколько прежде желал из тщеславия. Правда, тяжело ему было отказаться от своего любимого намерения: блеснуть пышностью, вкусом и даже — если не ошибаюсь — своей дочерью; но еще тяжелее идти против общего мнения. Так думал Петр Андреич.

Позвали к обеду. Все пошли попарно и молча. Беседа не была, как прежде, приправлена шутками и остроумием Вашиадана. Сей чудный гость, неизвестно почему, разделял с прочими то дурное расположение духа, которое, как язва, переходит от одного ко всем, и простирает на самых веселых свое губительное влияние.

Вскоре после стола начались приготовления. Линдин продолжал твердить роль; но чем более старался, тем менее успевал. Наконец он кинул с досады тетрадь, и хорошо сделал. В день представления отнюдь не должно перечитывать роли, как бы дурно вы ни знали ее: это совет одного опытного актера.

Итак Линдин, перекрестясь, положился во всем на крепкую грудь суфлера. Домашний оркестр, составленный из двух скрипок и фагота — (второпях не успели послать за другими инструментами) — заиграл увертюру, и все зрители чинно уселись по местам. С последним ударом смычка поднялся занавес, и комедия пошла своим чередом — разумеется — за исключением *Фамусова*, который врал без пощады и останавливался на каждом слове, вслушиваясь в подсказы суфлера.

Однако первое действие кончилось довольно удачно при общих рукоплесканиях доброхотных зрителей. Линдин сказал препорядочно свои два стиха:

Что за комиссия, Создатель,
Быть взрослой дочери отцом! —

и Марья Васильевна, остававшаяся в партере с гостями, значительно улыбнулась своему мужу.

Началось и второе действие. *Фамусов*, или правильное Линдин, довольно твердо выдержал огненные сарказмы *Чацкого*; *Скалозуб* проговорил басом, и *Софья* вышла на сцену, дабы упасть в обморок. Она произносила уже стих:

Ах, Боже мой! упал, убился! —

как вдруг Вашиадан с словами:

Кто, кто это? —

снял фиолетовые свои очки, и устремил глаза на обернувшуюся к нему девушку. Я слышал крик и шум от падения на пол...

Громкие и продолжительные рукоплескания последовали за ее мастерским обмороком; некоторые кричали даже: форо! но я был за кулисами и видел причину ее беспомощности. Забыв все, выбегаю на сцену и прошу о помощи.

Легко себе представить, какая суматоха поднялась в зале, когда узнали, что обморок Глафиры был вовсе не искусственный. Мать бегала в испуге из комнаты в комнату, спрашивая спиртов, соли; отец не мог опомниться, и все еще приписывал этот обморок чрезвычайному искусству дочери; из зрителей иные суежились вместе с Линдиной и еще более ей мешали, а большая часть разъехалась.

Невольно обратил я глаза на стенные часы, висевшие в зале. Протяжно пробило на них *десять*.

— Об эту пору, в исходе десятого, скончался возлюбленный Глафиры, — подумал я и стал искать взорами Вашиадана. Но он исчез, и никто не знал, когда и как оставил дом Линдина.

VII.

Внезапный отъезд Вашиадана возбудил во мне сильные подозрения. Правда, обморок Глафиры мог произойти от ее болезненного состояния или от той же обманчивой мечты, которая заставляла и меня несколько раз находить в подвижной физиономии и в голосе сего странного человека сходство с чертами и с голосом покойного друга. Но, с другой стороны, не мог ли поступок его быть следствием какого-нибудь обдуманного, злоумышленного плана? И нет ли в его власти скрытных, таинственных средств, с помощью коих он приводит этот план в исполнение? Поведение, характер, таланты Вашиадана были столь загадочны, что из них можно было выводить какие угодно заключения. Он сам не говорил о себе ни слова и старался отклонять нескромные вопросы любопытных. Судя же по рассказам Линдина, и в особенности чиновников Банка, где он заложил множество бриллиантов и других драгоценных вещей на огромную сумму, то был Грек, ремеслом ювелир или — как иные уверяли — Еврей, алхимик, духовидец и чуть-чуть не Вечный Жид. Но сия самая неизвестность о его происхождении и занятиях наводила на него еще сильнейшие подозрения. Мне казалось более чем вероятным, что он наглый и хитрый обманщик, у которого на уме что-то недоброе, хотя и трудно проникнуть в его цели.

В этой уверенности я отправился на следующее утро к Линдиным осведомиться о здоровье Глафиры.

Меня встретила мать. Я спросил ее о дочери: по словам ее, она провела ночь покойно и еще не просыпалась.

— Знаете ли, — промолвила таинственно Марья Васильевна, — знаете ли, отчего, я думаю, больна моя Глафира?

— «Отчего?»

— Ее сглазили!

Я не мог не улыбнуться при таком объяснении ее болезни.

— «Вы смеетесь?» продолжала Линдина с укоризной; «но я совершенно тому верю».

— «И я не вовсе отвергаю возможности магнетического действия глаз на людей и животных», отвечал я. «Между прочим, мне сказывали об одном человеке простого звания, который носил зонтик на глазах единственно из боязни причинить вред своим взором. Но его опасения могли быть ложны; что же касается до Глафиры...»

— Ваш пример еще более подтверждает мою догадку. Мне кажется, что Вашиадан носит фиолетовые очки из той же предосторожности. Когда он снял их, Глафира тотчас упала в обморок. Но я умыла ее святой водой, и надеюсь, что болезнь пройдет скоро.

Некстати было сообщать ей теперь мои подозрения насчет Вашиадана. Время, полагал я, объяснит загадку; хотя во всяком случае благоразумие требовало бы обходиться осторожнее с двусмысленным приятелем Петра Андреича. Но это его дело, а не мое.

При сем раздумье, нас позвали к Глафире. Узнав о моем приезде, она желала меня видеть.

Больная сидела на постели, склоня голову к подушкам. Положение ее руки на лбу показывало, что она старается принести себе на память случившееся вчера с нею.

Рассказ матери подтвердил ей темное воспоминание.

— «Да», сказала она наконец слабым голосом; «почти так. О, как это было страшно! — Но где батюшка?»

— Он поехал в клуб, душа моя, — отвечала мать, — и скоро воротится.

— «Скоро? дай-то Бог! Пора, давно пора открыть вам тайну этого бедного сердца. Вчерашний случай заставляет меня поспешить моим признанием. Не уходите», прибавила она, обратясь ко мне; «вы будете моим земным свидетелем.

Глафира находилась в напряженном состоянии духа. Жар ее увеличивался, щеки и глаза пылали. Она продолжала с какою-то невыразимой торжественностью:

— «Быть может, признание мое поздно; но, по крайней мере, вы поймете дочь свою; и если суждено ей скоро умереть, то она не понесет во гроб тайны, скрытой от родителей. Тогда молитесь за меня и просите Бога, чтобы Он не

лишил вашу дочь той отрады в будущей жизни, которую она напрасно искала в здешней».

Эти слова произвели необычайное действие на Линдину. Для ней все было неожиданно, непонятно. Она хотела говорить, и вдруг судорожно схватила руку дочери.

В эту минуту вошел Петр Андреич. Едва обратил он внимание на больную и, поцеловав ее в лоб, начал:

— Ну, что, прошло? Я знал, что пройдет. Представь, Marie, — продолжал он гневно, — проказник-то, наш роденька, мало того, что вчера на меня прогневался; нет, изволь отправиться в клуб да составь там заговор против моего представления! Хорошо, что болезнь дочери заставила меня отменить его; не то подумали бы, что я струсил. Нет, братцы, не того я десятка! Что затеял, то и выполню, хоть будьте вы семи пядей во лбу. Видишь, удумали сомневаться в моем верноподданстве! Куда подъехали! — Сегодня вхожу в газетную: сидит князь Иван, да...

Линдина слушала мужа, скрепя сердце; но, не предвидя конца его рассказам, прервала их наконец с видом грубого негодования:

— «И тебе не совестно», сказала она, «заниматься этими вздорами, когда дочь твоя на краю гроба!»

Сильный удар долбней не произвел бы на Петра Андреича большего действия, чем эти слова. Он остался в том же положении, в каком был при конце своего рассказа: с раскрытым ртом, с наклоненным туловищем и руками, опершимися дугою на колена. Чувство родительское восторжествовало над мелким самолюбием.

— Как, на краю гроба? — возопил он, выйдя из оцепенения.

— «Да, и на краю гибели. Слушай признание своей дочери, быть может, преступной дочери!»

Глафира величаво поднялась с своей постели.

— Я преступная? — воскликнула она. — Нет, родители! Я чиста, как голубь, непорочна, как агнец. Моя вина лишь в том, что я скрывала от вас свою страсть... Я любила!

— «Ты любила!» — вскричали отец и мать.

— И потеряла своего возлюбленного, — продолжала Глафира едва внятным голосом. — Вчера ровно год, как он умер.

— «А кто тот дерзкий, который осмелился любить тебя без нашего позволения?» спросил сердито отец.

— Не тревожьте его праха, — уныло отвечала дочь. — Вот свидетель, что мой покойный друг до самой своей кончины скрывал от меня любовь свою. Слишком поздно узнала я, какое пламенное чувство он питал ко мне.

— «И вы, сударь, знали о том и молчали?»

— Он обязал меня клятвою никому не верить его тайны, кроме вашей дочери. Заветные слова умирающего священные: я исполнил их со всею строгостию долга.

— «И ты любила его еще при жизни?»

— Да, и еще более люблю его по смерти. Я поклялась — и теперь, пред лицом Бога и перед вами, повторяю мою клятву — я поклялась не принадлежать никому в здешнем мире.

Эти слова, произнесенные с необычайной твердостью, обезоружили гнев отца.

— «Но ты не откажешься принадлежать нам?» сказал он с чувством.

— О батюшка, о родители! — отвечала растроганная дочь; — вам одним принадлежу я — я ваша!.. но не думаю, чтобы надолго.

Мать, не говорившая до того ни слова, вдруг зарыдала и опустила голову на грудь своей дочери.

— «Глафирушка, милое, единородное мое детище», возопила она, стеная, «не покидай нас, живи для нас! Более ничего не требую, прощаю, благословляю любовь твою!»

Этот порыв материнского сердца поворотил всю мою внутренность; слезы брызнули у меня из глаз. Линдин плакал навзрыд.

Несколько минут продолжалась эта безмолвная, но трогательная сцена. Глафира подняла первая голову. Ее лицо, незадолго унылое и пасмурное, теперь казалось преображенным от восторга и чистейшей радости. Но вдруг какая-то новая мысль пробежала по челу девушки и словно обла-

ком задернула лучезарный свет ее очей.

— Благодарю вас, мои родители, — сказала Глафира, — за эту прекрасную, эту блаженную минуту. Но как быстро она промчалась! Тяжелое воспоминание ее отравило. Змей Вашиадан смертельно уязвил меня.

— «Что говоришь ты о Вашиадане, друг мой?» спросил испуганный Линдин.

— Слушайте; я кончаю свое признание: покойный мой друг носил на руке фамильный перстень; помню, он часто говаривал, будто в этом перстне заключается таинственная сила и что от одного будет зависеть судьба той, которую изберет себе в супруги. Это предание, вместе с вещью, перешло к нему от бабушки. Я принимала его слова за шутку и позабыла бы о них, если б на аукционе не встретила перстня. Я не могла понять: каким образом он попал между вещей Графа; но была рада, что мне представился случай купить его. Сходство изображения с чертами покойника напомнило мне таинственные предрекания. Я думала обручиться этим перстнем навеки с ненареченным супругом, как вдруг кто-то в толпе, с его чертами и голосом, надбавляет цену и отнимает у меня сокровище, за которое тогда я отдала бы полжизни. У меня померкло в глазах; не помню, как мы приехали домой. Возвратиться за перстнем было поздно... Прошло несколько дней; приготовления к комедии развлекали меня, время ослабило воспоминание о талисмани: я стала покойнее. Но вчера... видали ль вы Вашиадана без очков?.. вчера, когда он снял их во время репетиции, лицо, голос его вдруг изменились: передо мной стоял мой возлюбленный, точь-в-точь он... И в довершение очарования — таинственный перстень блеснул на его руке: удивление, страх, ужас овладели мною, я обеспамятела. Помню, как это же лицо мелькнуло и на аукционе, как те же глаза, пламенные и неподвижные, были и тогда устремлены на меня. Страшно при одной мысли... Не дай Боже встретиться мне опять с этими взорами! Мне кажется, я их не вынесу.

Глафира умолкла. Изумление наше было невыразимо. Я не знал, верить или нет странному повествованию; я го-

тов был принять его за бред болящей, или даже за признак ее умственного расстройства. Но многое из рассказанного ею о Вашиадане подтверждал мне собственный опыт; давно я питал к нему недоверчивость и подозрение. Вид страдальцы пробудил во мне все негодование.

— «Ваш мнимый приятель», сказал я Линдину с жаром, «есть явный злодей и обманщик, хотя бы одна десятая часть нами слышанного была справедлива. Даю слово отыскать его и потребовать от него отчета в гнусной шутке, которую он сыграл над вашей дочерью».

— Не берите на себя труда его отыскивать, — сказал кто-то позади меня твердым и знакомым голосом.

Я оглянулся... То был сам Вашиадан.

VIII.

— Виновный здесь, — продолжал он, снимая очки.

Мы обомлели.

— Что ж вы не требуете от меня отчета? — спросил незванный гость с язвительной улыбкой. — Вас удивило, может быть, неожиданное мое посещение? Но дела мои переменились, и я остался в Москве. Вы не отвечаете? Вижу, приезд мой вам не нравится. Не опасайтесь: я вас скоро от себя избавлю.

При этих словах он снова устремил на нас свои огненные взоры. Мы не трогались с места. Я чувствовал в себе что-то необычайное. Это что-то походило на те страшные сновидения, когда человек, не теряя еще памяти, чувствует оцепенение во всех членах, силится привстать и не может пошевелиться, хочет говорить, и язык его коснеет, грудь стесняется, кровь замирает в жилах, и он, полумертвый, падает на изголовье. Сие-то удушающее ощущение, известное простому народу под именем *домового*, овладело тогда мною. Я видел все происходившее; но язык и члены онемели — в я не в силах был обнаружить ни словами, ни движением моего удивления и ужаса.

После того страшный Вашиадан — (он был точно страшен в эту минуту) — приблизился к постели, на коей лежала больная. Глаза его засверкали тогда необыкновенным светом. Больная привстала, но молча и почти без жизни; потом сошла с постели, ступила на пол, пошатнулась... новый взгляд Вашиадана как будто оживил ее: она оправилась, стала твердо на ноги и тихими шагами пошла за своим вожатым.

Мы все оставались неподвижными. Я видел, как они вышли из комнаты, как Глафира, подобно невинной жертве, ведомой на заклание, послушно следовала за очарователем; я слышал шаги их по коридору, слышал повелительный голос Вашиадана, коему слуги хотели было преградить дорогу. Рвутся вперед — но вот стук экипажа раздался у подъезда... потом на улице... все глуше, глуше — пока наконец исчез в отдалении.

Подобно той змее, которая одним взором привлекает к себе жертвы и одним взором умерщвляет их, Вашиадан, силою огненных своих очей, произвел над несчастною Глафирой то, что почел бы я выученной фарсой, если бы сам не подвергся отчасти их магнетическому влиянию.

Слишком, слишком поздно разрушилось наше очарование. Мать, как бы пробужденная от глубокого сна, приходит в себя мало-помалу — ищет дочери... Несчастливая! Страшная действительность вскоре удостоверит тебя, что ты лишилась, и быть может, навеки, своей милой Глафиры!.. Нет ее ни в доме, ни на улице. Все видели, как Вашиадан посадил ее в карету и поскакал с нею — но куда? зачем? то оставалось загадкой для каждого.

Тут вопли матери наполняют дом: в беспамятстве бегает она по комнате, ломает себе руки, умоляет каждого спасти ее детище, единородное ее детище. — Спеши — вскрикивает она наконец, падая на колена перед мужем — спеши исторгнуть дочь свою из когтей злодея... возврати ее несчастной матери, горестной, убитой, опозоренной!

Но Линдин стоял недвижим, и молчал. Он походил на одного из истуканов, пред коими некогда люди преклоняли с мольбою колена.

Тихо поднялась на ноги жена его.

— «И ты медлишь?» продолжала она страшным раздирающим голосом. «Оставайся ж, бесчувственный! Я, слабая женщина, я заступлю тебя и покажу, к чему способна отчаянная мать! Прочь, сударь! я сама еду за своей дочерью».

С сими словами Линдина бросилась к дверям; но силы ее истощились... она упала без чувств...

IX.

Прошло около года после страшного происшествия, лишившего Линдиных дочери. Все старания мои отыскать ее были напрасны. Никто не знал Вашиадана, никому не было известно его местопребывание, и самое имя его все почитали подложным. Мудрено ли было ему, обдумавши план свой заранее, принять нужные меры к сокрытию себя, своего имени и жилища?

Потеряв всю надежду открыть следы Глафиры и ее похитителя, я оставил Москву. Один родственник давно звал меня в отдаленную свою деревню. Теперь было кстати воспользоваться его приглашением: я переехал к нему. Весна во второй раз по смерти моего друга воскрешала природу. Все окружавшее улыбалось мне; я один оставался мрачен; тяжелое воспоминание давило мне душу; приближался день его кончины и ее гибели. В этот день, по совершении печального обряда в сельской церкви, я отправился пешком бродить по сосновому лесу, лежавшему близ усадьбы и простиравшемуся на большое пространство. Грустные мысли невольно овладели мною. Сосновый бор казался мне огромным кладбищем, скрывавшим целые поколения: каждое дерево являлось моему воображению вечным стражем, поставленным от Бога для сохранения могил до дня всемирного воскресения; шелест шагов моих мнился мне ропотом усопших на дерзкого нарушителя их гробового спокойствия. Я остановился, и сел на обрушившуюся сосну.

Мечты еще преследовали меня; но тихий стон, раздавшийся неподалеку, разогнал их. Я поднимаю глаза, и вижу — в нескольких шагах от меня лежит женщина. Платье ее изорвано, руки в крови — вероятно от сухих древесных сучьев и игл, о которые она цеплялась, шедши по лесу. Она была без чувств и, по-видимому, боролась со смертью; я подхожу, вглядываюсь... Боже! то была — Глафира!

Солнце клонилось к западу; я чувствовал, что заблудился: ни тропинки, ни признаков жилища. Но вот какой-то шорох послышался за мною; я оглядываюсь: старик в крестьянском кафтане, с дубинкой в руках, с секирой за поясом пробирался сквозь чащу. Он был не менее моего изумлен, встретив человека в глухом месте в такую пору и возле мертвого тела.

Мы объяснились. Старик был дровосек, и переехал на лето в бор для рубки леса. Шалаш его стоял неподалеку; и он, услышав шорох и стоны, пошел на голос.

С его помощью я перенес в шалаш несчастную девушку. Вскоре открыла она глаза... мой голос поразил ее; и, когда мы подали ей нужные пособия, она совершенно опомнилась, узнала меня, и бросившись мне на шею, называла своим ангелом-хранителем.

— Дай Бог, чтоб я оправдал это название, — сказал я в смущении. — Но какая несчастная звезда привела вас на это место? Откуда вы?

Тут, собравшись с силами, она начала рассказ свой едва внятным голосом. И вот что мог я извлечь из него.

Х.

Оставив Москву, Вашиадан провез Глафиру глухими проселочными дорогами к одному уединенному дому, где ожидал их дорожный экипаж. С приближением ночи они поехали далее. На день обыкновенно останавливались, с

захождением солнца продолжали дорогу. Чародей старался поддерживать свою несчастную спутницу в беспрестанном забытии. Наконец, по долгом пути, они приехали — куда? того не знала Глафира. То было в глухую полночь. Их встретили с факелами; погребальный их блеск пробудил Глафиру.

— Где я? — спросила она у своего похитителя.

— «В доме друга», отвечал он своим млечным голосом.

Они вошли в пышные хоромы, украшенные внутри богатыми обоями, бронзой, картинами, на коих изображались чудные, фантастические фигуры. Чем-то нечеловеческим отзывалось все их окружающее: люди с странными лицами, словно в масках, служили новоприезжим; вдруг, вдалеке послышались гармонические звуки и с приближением превратились в какой-то нескладный, но живой танец и вот все фигуры — на обоях, на картинах, из бронзы — начали прыгать, плясать, а чудные служители — передразнивать их движения. За этими вакханалиями следовали сцены более мрачные. Своды комнат стали испускать жалобные стоны; изображения на обоях и картинах заплакали, зарыдали, а веселые служители обратились в безобразные, страшные фигуры. Тут Глафира закрыла руками лицо и прижалась к груди похитителя... Вдруг пронеслись звуки охотничьих рогов, лай собак, будто по лесу... Все утихло: одна лишь свирель, на голос Альпийской песни, заунывно сзывает коров, и повторяется в отзвуках гор все тише, тише... Но вот направо, в лесу, блеснул огонек; светлая точка расширяется понемногу, образует шар, и он в мгновение бежит пожаром по лесу. Треск, гул, грохот оглушают воздух, все колеблется, сам ад пирует на земле. Но шар, подобно луне, поднимается величаво из-за облаков дыма; вдруг взвился он высоко и с треском распался на части. Огненный свод обнял поверхность и, словно шатер, раскинулся над землею. Изумруды, яхонты, алмазы горят на своде и отражаются в воздухе тысячью разноцветных огней. Воздушный шатер тихо опускается на вершины деревьев и растопляется сетью над лесом. Пламя потухает мало-помалу, свет становится бледней и бледней; наконец все исчезло, и

лишь луна, выкатившись из-за тучи, серебрит уединенную поляну. Боязливые ее лучи, мерцая, падают робко на лицо товарища Глафиры; она узнает в нем милого, нежного своего друга.

«О, как я счастлива», лепечет она в сладком забытии — «о, как я счастлива, сидя с тобою, супруг моего сердца, душа души моей! Но Боже, а!.. это не он, не он!» — и падает в беспамятстве.

Померкла луна; явился день с порфирородным своим спутником. Сквозь густую зелень деревьев, осенявших окна и разливавших сладостную прохладу, прокрадывается свет и проникает в опочивальню Глафиры. Она пробудилась; у ног ее сидит очарователь.

— Вчера, — говорит он, — ты видела мое могущество, видела, какие таинственные силы в руках моих. Отныне я от всего отрекаюсь: ты одна — царица сего жилища. Я умел преклонить тебя сверхчеловеческими средствами; теперь, простой смертный, я у ног твоих; не ты в моей, а я в твоей власти. Располагай тем, что видишь, повелевай мною; но — люби меня!

— «Тебя любить?» воскликнула, опомнившись, Глафира и отклонила его от себя рукою. «Кто бы ты ни был,» — продолжала она, — «дух ли искунитель, привидение или человек, — прошу, умоляю тебя: возврати меня родителям!»

— Не могу! Что раз случилось, того переменить невозможно.

— «Дух-обольститель! зачем же ты исторгнул меня из объятий родительских? Зачем принял ты на себя те черты, тот голос, тот взгляд, которым я не могла противиться, которые против воли заставляют меня простить твое оскорбление? О дух-обольститель! смилуйся надо мной, возврати меня моим родителям!

— Одно и то же! ужели моя любовь не получит другого ответа?

— «Но кто же тебя заставил любить меня?»

— А тебя кто заставил явиться передо мною во всем обворожительном блеске красоты? Помнишь ли тот вечер, когда глупый твой отец встретил меня в театре?

— «Ах, не называй так отца моего!»

— Согласен. Но знаешь ли ты, что я никогда не был знаком с ним, что он видал в Петербурге не меня, а другого и что одно случайное сходство лица...

— «И ты решился воспользоваться его легковерием?»

— Любовь моя все оправдывает.

— «Но еще раз — зачем же принял ты голос и черты моего любезного?»

— Я не принял их, они мои собственные. Я твой друг — и друг навеки.

Тут он прижал ее к своей груди, и тихо надел ей на руку таинственный перстень.

— Узнаешь ли ты наше кольцо обручальное? Помнишь ли предсказание? Вот залог любви нашей!

Она взглянула на перстень, взглянула на друга... «О, мой ангел!» — воскликнула она вне себя от упоения; «ты возвращен наконец твоей Глафире!» — и с этими словами судорожным движением упала в его объятия.

Я слушал с изумлением и ужасом. Многое казалось мне невероятным в ее повествовании; и чудеса, коих она была свидетельницей в доме похитителя, я приписывал расстроенному ее воображению. Но когда она коснулась этой роковой минуты, в которую, увлеченная обманчивою мечтой, вверилась хищным объятиям мнимого друга — холодный пот обдал меня; ее страстная речь ручилась за ужасную истину и подтвердила мои слишком справедливые опасения: с той минуты Глафира сделалась незаконною супругой Вашиадана...

Ее уверенность, что то был прежний друг ее, возвратившийся с того света, еще сильнее убедила меня в горькой истине; ибо до чего не могут довести слабую женщину заблуждения сердца и воображения?

Словом: она жила с ним целый год в очаровательном его замке, не помышляя о родных, дыша им одним, блаженствуя в своем гибельном заблуждении.

— Но сегодня, — продолжала она, — сегодня я покоилась еще в объятиях моего супруга, как чудные служители вдруг окружают наше ложе. «Срок минул! — к расплате!...» — кри-

чат они моему другу и влекут его. Я, как змея, обвилась около его тела; но злодеи исторгают у меня свою жертву, и в глазах моих — ужас вспомнить! — начинают щекотать моего супруга. Ужасный смех вырвался из груди его и вскоре превратился в какой-то адский хохот. Злодеи исчезли, и передо мной остался лишь бездыханный труп; пена, полная яда, клубилась у него изо рта. — «И ей ту же казнь!» возопили снова служители. Но вдруг послышался знакомый, нежный голос. «*Она невинна!*» — прозвучал он надо мною; и от него, как сон, разлетелись страшные видения, хохот умолк... и я, какою-то волшебною силой, очутилась на том месте, где вы, мой ангел-хранитель, нашли меня.

— «Не волшебная сила перенесла вас; ваше платье показывает, что вы сами пришли сюда».

— Быть может; я не помню...

— «Но помните ли вы своего прежнего, давно умершего друга, который, тому ровно два года, поверял мне заветное свое признание в любви к вам, тогда — еще непорочной?»

— Я вас не понимаю.

— Сегодня минет два года, как он умер, и год, как вы похищены из дому родительского рукою изверга Вашиадана.

— Вашиадана... покойный друг... из дому родительского... Ах! что вы мне напоминаете! Все это как сон... Но где мои родители?

— Они *там*, соединились с вашим другом, и у престола Божия молят о помиловании врага их и о вашем прощении.

Глафира устремила на меня неподвижные взоры; наконец, вышед из оцепенения:

— Туда, туда за ними! — возопила она и тихо склонила голову на плечо мое.

Рука невольно взялась за часы; роковая стрелка опять указывала *десятый в исходе*.

Я взглянул на Глафиру. Лицо ее покрылось смертною бледностью, пульс умолк, дыхание прекратилось: она заснула сном непробудным...

И через три дня я предал земле прах несчастной. Уединенная сосна, подымая горе мрачно-зеленую свою вершину, осеняет могилу, и как бы молит небеса о помиловании. Каждый год, в день ее смерти, прохожие слышат хохот над могилой; но хохот умолкает, и тихий, нежный голос, нисходящий с эфирной выси, произносит слова: *«она невинна!..»*

P. S.

ДЛЯ НЕМНОГИХ

— «Прекрасно!» — восклицает насмешливый читатель, «но скажите, кто же этот Вашиадан? — злой дух, привидение, вампир, Мефистофель или все вместе?»

— Не знаю, любезный читатель; он столько же мне известен, как и вам. Но предположим его на время человеком, обыкновенным смертным (ибо вы видели, что он умер); и теперь посмотрим, не объяснятся ли нам естественным образом чудеса его. Во-первых...

— «Во-первых», прерывает читатель, «возможно ли то разительное сходство в его чертах лица и в голосе с покойным вашим другом, которое вам было угодно придать ему? Потом...»

— Позвольте и мне прервать вас. Вы говорите о невозможности такого сходства; но разве оно не встречается в природе и разве искусство не умеет подражать ей. Вспомните Гаррика. Но оставим чудную игру природы и усилия искусства и обратимся к самим себе, где столько для нас загадок. Кто из нас не испытал над собою, как легко, особенно при помощи разгоряченного воображения, придать одному черты и голос другого? — Что же, если эти черты, этот голос принадлежат любимому человеку? А кого любишь, того думаешь встречать всюду. Вам известен скрипач Буше, по крайней мере понаслышке: многие из обожателей Наполеона чуть-чуть не видели в нем двойника свое-

му герою. Я сам был поражен сходством музыканта с завоевателем, хотя последнего знал лишь по его портретам да по бюсту:

Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

Правда, Буше недоставало безделицы — орлиных глаз Наполеона; но во всем прочем...

— «Кстати о глазах: скажите, что за сверхъестественной силой одарили вы глаза Вашиадана?»

— Прежде чем буду отвечать на это, любезный читатель, я спрошу вас вместе с покойной Линдиной: верите ли вы в *дурной глаз* или, другими словами, верите ли вы в магнетическую силу взоров? Если *да*, то удивляюсь вашему вопросу; если *нет*, то отсылаю вас к петербургской волшебнице, которая, как говорят, силою своего целебного взгляда излечает недуги, выправляет горбы, и если бы захотела — верно могла бы произвести те же чудеса над какой-нибудь слабонервной Глафирой, какие совершает Вашиадан в моей повести. Припомните, какими средствами довел он мою героиню до расслабления, какими неожиданными ударами потряс ее организм, прежде нежели решился на свое чудо из чудес, на похищение.

— «Но вы, Линдина, ее муж, их слуги разве не испытали также над собой его чародейства?»

— Не спорю, что, быть может, и на нас действовала отчасти магнетическая сила его глаз; мы были расположены к тому предыдущими сценами, неожиданною дерзостью похитителя и даже — если хотите — верою в его могущество.

— «Но его таинственность, долголетие, всевидение?»

— Он был обманщик, умный и пронырливый.

— «Но его замок, чудная прислуга, чудная смерть?.. Не говорю уже о перстне, о роковом дне и часе...»

— Все это — суеверие, случайности, смесь истины с ложью, мечты Глафиры.

— «А хохот и голос над ее могилой?»

— Мечты прохожих.

— «Мечты, мечты! Но вы сами им верите. Полноте притворяться; скажите откровенно: кто ж этот Вашиадан? Не чародей ли в союзе с дьяволом?»

— Теперь не средние века!

— Ну, так Вампир?

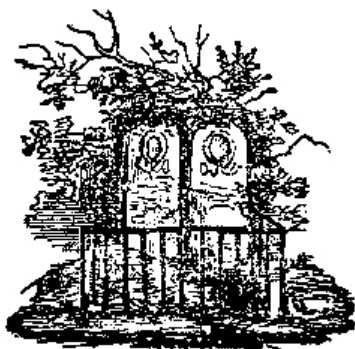
— Он не сосал крови.

— «Ну, воплотившийся демон, посланный на срок; ну, словом: пришлец с того света?»

— Не помню, чтоб от него отзывалось серой.

— «Да — *кто же он?*»

— Не знаю. Отгадывайте.



«Д. Золы»

Вампир

I.

Я не мог заснуть и тщетно ворочался с боку на бок в своей постели. — «Черт возьми столоверчение и тому подобный вздор, расстраивающий нервы!» — подумал; — как вдруг, совсем близко, мне послышался дрожащий звук струны; слабый, печально-звучавший тон.

Я поднял голову. В это самое мгновение на горизонте всплыл месяц и его лучи упали прямо на мое лицо. Белым как мел казался пол в комнате, освещенной луной. — Шум повторился и на этот раз явственнее.

Я приподнялся на локтях. Сердце слегка зашлось... Прошла минута, другая... Где-то закукурекал петух; другой вторил ему.

Голова моя опять упала на подушки. — «Не угодно ли!» сказал я самому себе. — «Долго ли будет звенеть у меня в ушах?»

Я заснул или, по крайней мере, думал, что заснул. Мне снились замечательные сны. Я удивился, найдя себя в своей комнате лежащим на своей кровати, не будучи в состоянии закрыть глаза. — Опять тот же самый шум! Я повернулся. Казалось, — лучи месяца сжались на полу в комок, приняли форму... это *нечто* поднимается... совсем возле меня, прозрачна, как облако, встает белая женская фигура.

«Кто тут?» — спросил я, вскакивая.

Голос, слабый как тихий шелест листьев, прошептал: «Это я! Я пришла увидеть тебя!»

«Меня увидеть? — Кто ты?»

«Приходи ночью на опушку леса, под старый дуб. Я буду там!»

Я хочу разглядеть черты этой таинственной фигуры и невольно содрогаюсь. Я чувствую себя точно окоченелым от холода. Я уж не лежу больше, сижу на своей постели, а на том месте, где я как будто видел фантом, не было ничего кроме серебряных лучей бледного месяца.

II.

Долго-долго длился день. Я пытался читать, работать... ничто не удавалось. Наконец наступила ночь; сердце мое билось в ожидании чего-то особенного. Я улегся, повернувшись лицом к стене.

— «Почему же ты не пришел?» — прошептал тихий голос едва слышно, однако явственно, совсем рядом со мной.

Это она! Тот же самый таинственный фантом с своими остановившимися глазами, своим неподвижным лицом, со своим взглядом, полным печали.

— «Приходи!» — слышалось снова.

— «Я приду!» — ответил я не без ужаса. Казалось фантом сделал движение по направлению к моей кровати, Он зашатался... его очертания сделались сбивчивыми и смутными, как туман. Мгновение... и ничего не стало, кроме бледного отражения луны на паркетном полу.

III.

Следующий день я провел в сильном возбуждении. За ужином выпил почти целую бутылку вина. — На одно мгновение я вышел на балкон, но почти тотчас же вернулся и бросился на свою постель. Пульс бился стремительно.

Еще раз слышался звук дрожащей струны. Я задрожал и не смел взглянуть... Вдруг, мне почудилось, как будто кто позади положил руки на мои плечи и прошептал на ухо: «Приходи! Приходи! Приходи!» Дрожа ответил я с тихим стоном: «Я буду» — и поднялся на своей кровати. Белая женщина стояла тут, склонившись над моей подушкой; она нежно улыбнулась мне и тотчас же исчезла. Однако мне представилась возможность бросить взгляд на ее лицо: казалось, будто я где-то видел ее, но когда и где?.. Я встал очень поздно и целый день ничего не мог делать, бродя по своим полям. Я подходил к старому дубу на опуш-

ке леса и тщательно исследовал окружающую местность.

К вечеру я поместился у окна в своей комнатке; моя старая служанка принесла мне чашку чая, но я не дотронулся до него. Я не мог прийти ни к какому решению и спрашивал самого себя не сошел ли я с ума. — Между тем солнце заходило; на небе ни одного облачка. Вдруг весь ландшафт явился в какой-то сверхъестественной пурпуровой окраске. Листья и трава, точно покрытые карминным лаком, не двигались, не колыхались и, казалось, превратились в бесчисленное множество маленьких, блестящих камешков. Этот блеск и эта неподвижность, притом еще эта яркость очертаний в соединении с мертвым молчанием, царившим над всей природой, все это дышало чем-то особенным, невыразимым. — Вдруг, без малейшего шума, большая коричневая птица села на край моего окна; я глядел на нее, она глядела на меня своими круглыми, глубоко сидевшими глазами. — «Тебя без сомнения послали», — подумал я — «для того, чтобы я не забыл о свидании.»

Через мгновение птица взмахнула своими душистыми крыльями и улетела прочь так же бесшумно, как и прилетела. Я долго еще продолжал сидеть у своего окна; но уже всякая нерешительность исчезла. Я чувствовал, что какая-то тайная, неведомая сила завлекла меня в заколдованный круг: подобно челноку, который, будучи оторван стремительным потоком, мчится к водовороту, где его гибель.

Я прибодрил себя. Пурпуровая окраска ландшафта исчезла и постепенно переходила в мрак, столь благоприятный для привидений. Повеял легкий ветерок, месяц, загораясь, взошел на небе. Под его холодными лучами то там, то здесь заколыхались дрожа серебряные листья деревьев.

Служанка вошла со свечой, но внезапный ветер загасил ее. Я порывисто встал, нахлобучил шапку и быстрыми шагами пошел к лесной опушке, где возвышался старый дуб.

Много, много лет тому назад в этот дуб ударила молния; верхушка его была разбита и теперь совершенно засохла, но дерево, оставшееся невредимым, обладало еще жизненной силой на несколько сотен лет.

Когда я приблизился к дубу, облачко заволокло месяц и под сплошной листвой стало совершенно темно. Вначале я не заметил ничего особенного, но когда я взглянул в сторону, то заметил подле куста, между дубом и леском, находившимся в двух шагах, белую, неподвижно стоявшую фигуру. Сердце забилося стремительно, волосы стали на голове дыбом, только с трудом мог я дышать; однако я пошел по направлению к леску, к самому привидению...

Это была она, моя ночная посетительница. В тот самый момент, как я подошел к ней, месяц выступил из облаков, которые затемняли его. Видение, казалось, состояло из молочно-белого тумана, только глаза и волосы были более темного цвета. Когда она скрестила на груди свои руки, я заметил на одном из ее пальцев маленькое кольцо матового золота. Я подошел к ней и хотел заговорить, но голос не повиновался мне. То, что я испытывал, было не совсем чувство ужаса.

Она глядела на меня. — Взгляд ее не был ни печальным, ни радостным... Я дожидался, когда она заговорит со мной, но она оставалась безмолвна и неподвижна, обратив на меня свой пристальный взор.

«Вот я!» воскликнул я, пересилив себя. Мои слова звучали глухо.

«Я люблю тебя!», послышался ответ тихим голосом.

«Ты любишь меня?» воскликнул я пораженный.

«Отдайся мне!» снова послышалось словно дуновение.

«Отдаться тебе? Но ведь ты привидение! ты бестелесна!» Все мои мысли перепутались. «Кто ты? Пар, туман, воздушное облако! — Отдаться тебе! — Сперва скажи мне, кто ты? жила ли ты на земле? Откуда ты?»

«Отдайся мне!» — послышалось снова. «Я не причиню тебе никакого страдания. Скажи мне только два слова: возьми меня!» Я растерянно смотрел на фигуру. — Что она говорит? что это все означает? думал я. — Решаться ли мне

на приключение? «Ну, хорошо!» — воскликнул я вдруг с невиданной силой, как будто какая-то тайная власть подтолкнула меня: «Возьми меня!»"

Едва я произнес эти слова, как таинственная фигура приблизилась ко мне с улыбкой, осветившей все ее черты; руки ее отделились друг от друга и стали длинными, длинными... Я хотел отскочить, но было уже поздно, она уже овладела мною, она обняла меня своими облакоподобными руками... медленно мое тело стало отделяться от земли... и мы с умеренной быстротой полетели, над широкой равниной, покрытой травой.

V.

Голова у меня закружилась и я невольно закрыл глаза... я чувствовал, что мы все еще летели... и когда я через несколько времени снова открыл глаза, то мне не видно уже было моего леса. Под нами тянулась широкая темная равнина. С невыразимым страхом я заметил, что мы находились на значительной высоте.

«Я во власти демона!» — Эта мысль-молния мелькнула в моей голове. До сих пор еще ни разу я не задавался идеей, что дьявольская сила придет для моей гибели... И мы летели все дальше и дальше и, как мне казалось, все выше и выше.

«Куда ты влечешь меня?» — выговорил я наконец.

«Куда хочешь!» — прошептала моя спутница, крепче заключая меня в свои объятия. Лицо ее касалось моего, однако мне чудилось, как будто я не чувствовал этого прикосновения.

«Назад, на землю!» воскликнул я, — «здесь, наверху, ужасно».

Она повиновалась и тотчас же мы стали спускаться вниз с быстротой падающих камней. Ветер путал мои волосы, и когда я опять пришел в себя, то увидел, что мы тихо летели над землей, касаясь стеблей высокой травы.

«Спусти меня здесь», сказал я. «Что за мысль летать! Я не птица!»

«Я думала доставить тебе этим удовольствие!» прошептала моя спутница. — «Мы ничего иного не делаем».

«Вы! — да, но кто вы?»

Никакого ответа.

«Ты не смеешь мне этого сказать?»

Жалобный звук, похожий на тот меланхолический тон, который разбудил меня в первую ночь, достиг моего слуха... и мы все летели низко над землей в сыроватом воздухе.

«О, спусти же меня на землю!» сказал я и на этот раз настойчивее. Она склонила голову как бы в знак повиновения и я стал на ноги. Она осталась стоять передо мной; и снова крестились ее руки. Как в первый раз, так и теперь мне чудилось в выражении ее глаз печальное прошлое. Я начал собираться мыслями и обдумывать свое исключительное положение.

«Где мы?» спросил я, так как не узнав местности, где мы находились.

«Далеко от твоего дома, но в одно мгновение мы можем быть там».

«Как?.. Я опять должен тебе довериться?»

«Я не делаю тебе ничего дурного!» — прошептала моя спутница и нежным, просительным тоном звучали эти слова. «Мы будем лишь вместе летать до рассвета. Повсюду, куда только поведет тебя твоя мысль, я смогу тебя унести, во все страны земли... Отдайся мне... и скажи только: “Возьми меня!”»

«Хорошо же! Возьми меня!»

Руки ее снова обвили вокруг меня; я потерял почву под ногами и мы снова начали свой полет.

VI.

«Куда вести тебя?» спросила моя спутница.

«Прямо, вперед!»

«Но, ведь, это лес!»

«Так полетим через него; только не так быстро».

Тотчас мы вихрем взлетели вверх, затем опять полетели в прямом направлении. Не было больше травы; повсюду верхушки высоких деревьев, которые, казалось, скользили под нашими ногами. Замечательная картина, смотреть сверху на этот лес, с бесчисленными, темными, тянувшимися к небу деревьями, сломанные верхушки которых освещала бледная луна, с его низкими курчавыми кустарниками, прильнувшими, казалось, к самой земле. — Мы пролетали порой над прогалинами и я изумлялся зубчатым теням, которые деревья бросали на пространства освещенные луной. — От времени до времени слышался жалобный крик зайца; а затем сильный, широко разносившийся среди тихой ночи, голос совы, перемешанный с каркающими и щелкающими воронами.

В воздухе чувствовался запах почек, грибов и сырой травы. Месяц лил на нас свои холодные лучи, а над нашими головами мерцая, блестели звезды. — Скоро лес исчез за нами. — Мы увидели широкую равнину, на которой виднелась серая линия тумана; это было русло реки. Мы летели вдоль берега, над травой и кустарниками, пригнувшись от росы. Вода то сверкала голубым блеском, то бурлила глухо и громко. То там, то здесь носились над рекой клубы тумана. Водяные лилии разинули свои белые, неясные лепестки; как молодые женщины, не боявшиеся ни подслушивания, ни подсматривания, раскрыли они свои сокровища. Я хотел сорвать один цветок и уже почти коснулся водяного зеркала, как вдруг в тот самый момент, когда я хотел схватить цветок, какая-то противная жидкость брызнула мне в лицо.

VII.

Я начинал привыкать к ощущению полета и даже находить в этом удовольствие. Кто видел во сне, как он летит,

тот поймет меня.

Совершенно успокоившись, я занялся теперь рассмотрением удивительного существа, которому я был обязан ролью в этом невероятном приключении.

Это была молодая женщина, черты которой ничуть не напоминали русский тип. Ее фигура сероватая, полупрозрачная, с чуть явственными очертаниями напоминала те легкие, прозрачные фигурки на освещенных внутри алебастровых вазах, которые мы видим в каждом салоне. — И опять мне почудилось, как будто эти черты были мне не совсем чужими.

«Могу я с тобой говорить?» — спросил я.

«Говори!»

«Я вижу на твоём пальце кольцо? Ты жила на земле? Была ты замужем?»

Она не отвечала.

«Как ты зовёшь себя? Или как зовут тебя?»

«Зови меня — Элли!»

«Элли? Это английское имя. Ты англичанка?.. Знала ты меня раньше?»

— «Нет».

«Зачем ты явилась мне?»

— «Я люблю тебя!»

«Ты счастлива?»

— «Да... витать, летать с тобой в свежем, свободном воздухе!..»

«Элли!» воскликнул я вдруг. «Ты проклята? Или твоя душа осуждена на страдания?»

— «Я не понимаю тебя», пробормотала она, опустив голову.

«Именем Бога заклинаю тебя...» начал я опять. Она прерывисто прервала меня.

— «Что ты говоришь мне», — воскликнула она. — «Я не знаю, что ты хочешь сказать». — Мне казалось, что холодная рука, которой она поддерживала меня, слегка задрожала.

«Не бойся!» продолжала она. — «Не бойся, мой друг». — Ее лицо склонилось к моему. На своих губах я почувст-

вовал особенное ощущение, как будто укол сухого жала... как бы прикосновение еще не присосавшейся пиявки.

VIII.

Мы витали на значительной высоте. Я смотрел вниз. Мы летели над незнакомым мне городом, построенным по склону высокого холма. Церковные башни высоко воздымались из темной массы домов. Золотые купола и металлические шпицы сверкали в призрачном освещении. Через реку тянулся длинный мост. — Беловатая, тихая улица казалась узким каналом, прорезывающим город из конца в конец и терялась в черной, широкой равнине за городом.

«Что это за город?» спросил я Элли.

— «N».

«В N... губернии?»

— «Да».

«Мы далеко от моей родины?»

— «Для нас нет расстояния».

«Правда?» Я почувствовал в себе внезапную смелость. «Тогда унеси меня в Южную Америку».

— «Невозможно. Скоро наступит день».

— «А! мы ночные птицы!.. Тогда унеси меня куда хочешь, только подальше».

— «Закрой глаза и не дыши», — отвечала Элли, «мы полетим быстро, как вихрь».

Тотчас же воздух с оглушительным грохотом загремел в моих ушах. Мы скоро остановились, но грохот не прекращался; он удвоился. Точно ужасный вой, страшный треск.

— «Теперь открой глаза», сказала мне Элли.

IX.

Я повиновался. — «Праведный Боже, где я?»

Над нами низкие, тяжелые, непроницаемые тучи, толпясь, перегоняя друг друга, как яростные чудовища; под нами — бурлившее, дико-взбунтовавшееся море. Конвульсивно, внезапно вздымались белые волны в пенистые горы, оторвавшиеся валы с ужасным громом хлестали черные скалы. Вой, рев расходившейся бури, ледяное дыхание, подымавшееся с самой глубины пучины, отголосок стремительных волн, разбивающихся о крутой берег, тут покинутый небом, борющийся с волнами корабль, — там, разбитый челнок... несущиеся по воде обломки, тонущие люди... Повсюду смерть, смерть и ужас... У меня закружилась голова и объятый ужасом я закрыл глаза.

«Что это? Где мы?»

«На южном берегу острова Вайт, у скалы Блэкганг, где так часто разбиваются суда!» отвечала Элли, как мне показалось, с злобно-радостным выражением.

«Унеси меня прочь, прочь отсюда! Домой!»

Мне казалось, что мы полетели с еще большей быстротой, чем раньше. Ветер улегся, однако я чувствовал на своем платье, на своих волосах, суровое веяние воздуха. Я не мог дышать.

Я почувствовал землю под своими ногами. Не слышалось более ни малейшего шума. Я сделал огромное усилие, чтобы собраться с мыслями. Все вокруг, казалось мне, умерло; но кровь бурно стучала у меня в висках, в голове же я чувствовал какой-то своеобразный звон. Мало-помалу это оцепенение прекратилось; я опять пришел в себя и открыл глаза.

Х.

Мы находились на улице моей деревни. Прямо перед нами сквозь ряд узловатых ив, виднелось большое пространство воды, над которой носился туман; — направо, тусклая зелень хлебного поля; налево из-за тумана, виднелся мой фруктовый сад с его неподвижными сероватыми дере-

вьями. Начало уже рассветать. По бледному небу растянулись в косых лучах два или три легких облачка, которые, под прикосновением первого, тихого вздоха утренней зари, казались точно позолоченными. Звезды исчезли одна за другой.

Еще ничто не шелохнулось, еще не раздавалось никакого шума... глубокая, святая тишина могилы... и однако, казалось, что вся природа в волшебном розоватом освещении рассвета готовилась к пробуждению.

— «Уже день!» — прошептала Элли у меня над ухом. — «Прощай, до завтра!»

Я обернулся к ней; она уже отделилась от земли и поднялась передо мной в воздух..., я увидел на минуту, как она подняла руки над своей головой... Эта голова... Эти руки... плечи, казалось, приняли телесный оттенок... глубокие глаза блестели... загадочная улыбка играла на ее слегка порозовевших губах... она мне казалась прелестной молодой девушкой... — Но только на один момент. — Словно ослепленная, она вдруг откинулась назад и затем исчезла как дым. Несколько времени я оставался точно оглушенный; я не мог двинуться. Когда я опять был в состоянии смотреть, что вокруг меня происходило, мне почудилось, будто эта телесная красота в неясных красках бледной розы не совсем еще исчезла, и будто моя удивительная фея все еще витала надо мной и вокруг меня. Быть может утренняя зоря румянила ее?

Я чувствовал себя утомленным и направил свои шаги к дому. Я услышал петуха, первого вестника загоравшегося дня. Вдоль крыши, на стропилах, тесным рядом сидели вороны, деятельно занятые своим утренним туалетом и глядясь как в зеркало в молочно-белое небо. По временам одна ворона с шумом поднималась, чтобы снова опуститься в нескольких шагах от своего старого места. В соседнем леске раздалось пылкое клохтанье тетерева... Легкая дрожь охватила меня; я поспешил в свой дом, в свою постель и скоро глубокий сон овладел мною.

XI.

В следующую ночь, когда я приблизился к старому дубу, Элли встретила меня, как старая знакомая. С моей стороны исчез всякий страх, и я опять увидел Элли почти с удовольствием. Я отказался от дальнейших усилий разгадать как-нибудь мое приключение и думал лишь о том, чтобы снова лететь и удовлетворить свою любознательность.

Рука Элли обвилась вокруг меня и мы начали свой полет.

«Полетим в Италию!» — сказал я ей.

«Куда хочешь, мой друг!» — отвечала она нежно. — Нежно и торжествуя склонила она ко мне свою голову. Мне чудилось, как будто ее лицо было не так прозрачно, как прошлую ночь, а черты не так туманны; она напоминала то удивительное видение, которое я имел в прошлую ночь, в момент расставания с ней.

«Эта ночь», прошептала Элли, «длинная ночь. Такая редко бывает. Когда шесть раз тридцать...»

— «...тогда» продолжала она, «можно видеть, что сокрыто в других веках».

Здесь я пропустил несколько слов.

«Элли!» — воскликнул я умоляющим тоном. — «Кто ты? Скажи мне наконец!»

Не отвечая, она вытянула свою длинную, белую руку. Своим пальцем она указала на темном небе один пункт, где между бесчисленными мелкими звездами красноватым светом светила комета.

«Как мне понимать?» — воскликнул я. — «Живешь ли ты как эта комета, блуждая между планетами и солнцами? Живешь ли ты между людьми?.. или совсем..? — Но рука Элли вдруг легла на мои глаза. Я был погружен в белый туман, поднимавшийся с долины.

«В Италию! В Италию!» — шептала она. — «Эта ночь — длинная ночь!»

ХП.

Туман рассеялся и я увидел под собой бесконечную равнину. Но ощущение мягкого теплого воздуха на моих щеках уже говорило, что мы были не в России; и кроме того равнина эта также не походила на наши. Туманное, лишенное растительности, пустынное пространство громадного протяжения. То там, то сям, подобно осколкам разбитого зеркала, виднелись лужи стоячей воды. Весь воздух был проникнут зловредными парами... Буйволы, олени, дикие кабаны бродили по топкой земле... Повсюду разносилось тысячеголосое кваканье лягушек... Вдали виднелись горы; с другой стороны, еще дальше, — тихое море.

— «Понтийские болота!» сказала Элли. «Ты слышишь лягушек? Слышишь запах серы?»

«Понтийские болота!» — повторил я и чувство робости охватило меня. «Зачем ты привела меня в это печальное место? Полетим лучше в Рим!»

«Рим близок», сказала она. «Готовься!»

И мы направили свой полет над старой латинской дорогой. — Из какого-то болота буйвол поднял свою неуклюжую голову и замотал рогами, откинутыми назад. Он показал нам белизну своих злых и глупых глаз, фыркая с невероятной силой. Без сомнения, он почуял нас.

— «Рим! Вот Рим!» воскликнула Элли. «Смотри перед собой!»

Что это за черная масса на горизонте? Гигантские быки моста? Через какую реку ведут они? Почему они местами разрушены? Нет, это не мост, это — старый римский водопровод. — Вот священная римская Кампанья; там внизу живописные альбанские горы. Их вершины и темные постройки старого акведука осветились бледным, матовым светом лучей восходящего месяца. — Скоро мы находились уже перед одиноко стоящими руинами. Был ли это когда-то дворец, или надгробный памятник, или бани? Кто мог сказать?... Черный плющ покрывал их своими печальными ветвями, а у подножия открывались словно зияющая пасть

полуразрушенные своды просторных подземельных комнат. Меня обдало пронизывающим запахом могилы, исходившим из всех этих маленьких, хорошо соединенных камней, мраморное одеяние которых давным-давно уже исчезло.

— «Здесь», продолжала Элли, протягивая руку. «Здесь, назови громким голосом три раза подряд имя великого Римлянина».

— «Что тогда будет?»

— «Ты увидишь».

Я подумал с минуту.

— «*Divus Cajus Julius Caesar!*» воскликнул я. — «*Divus Cajus Julius Caesar!*», — повторил я, растягивая звуки. — «Цезарь!..»

ХІІІ.

Последние звуки моего голоса еще не пропали, как я услышал... Но я в отчаянии, когда приходится описывать, что я тогда испытывал. — Прежде всего неясный, едва различимый для уха, непрерывно повторяющийся шум, как бы от труб и рукоплесканий. Мне казалось, как будто в какой-то необъятной дали, или в бездонной глубине, двигалась бесчисленная толпа; она выступала, поднималась тесными волнами, продолжая испускать крики, но те крики, которые вырываются из груди во время страшных снов, кажущихся веками; тут над руинами потемнело. Начали подниматься, маршировать мимо тени, мириады теней, миллионы фигур... одни округляясь подобно шлемам, другие удлинняясь в виде пик. Лучи месяца разбивались в бесчисленные, голубоватые искры на этих шлемах и пиках... и вся эта армия, все эти массы переполняли друг друга, приближаясь все больше и больше, становясь все больше и больше... Чувствовалось, что они были оживлены невыразимой энергией, были в состоянии сдвинуть вселенную... Однако, нельзя было различить ни одной ясной фигуры...

Вдруг особенное возбуждение распространилось по этим волнующимся массам... они разделились, отступили назад. *Caesar, Caesar venit!* раздались тысячи тысяч голосов, подобно шелесту листьев во время бури... Раздался глухой удар... и бледная, смуглая, увенчанная лаврами голова... голова императора... тихо выступила из развалин.

Нет, в человеческом языке нет слов, чтобы выразить тот ужас, который охватил меня в этот момент. Я сказал себе, что когда эта голова откроет глаза, когда эти губы разомкнутся, тогда я должен умереть... «Элли!» воскликнул я, «я не могу, я не хочу!.. Унеси меня прочь из Рима, прочь из этого ужасного Рима!»

— «Слабое сердце!» пробормотала она и мы полетели прочь. За нами слышался шум скрестившегося железа и величественный клич римских легионов... Тут все потемнело.

XIV.

— «Взгляни и успокойся!» сказала Элли.

Я не знал, что меня окружало, свет или туман! Ничего не мог я различить. Но я отдался упоению блаженства, когда увидел, как перед моими глазами обрисовывались загородные профили гор, красиво одетых лесами. Предо мною тянулось озеро с отражавшимися в глубине его зеленых вод и мерцавшими звездами. Я полной грудью вдохнул в себя благотворный воздух апельсинов... в то же самое время я услышал чудное пение молодого женского голоса. Возбужденный, плененный этим ароматом и этим голосом, я захотел вниз. Мы находились перед прелестным мраморным домиком, прислонившимся к тенистой кипарисовой роще. Звуки неслись из его широко открытых окон — озеро, покрытое апельсинными листьями, омывало своими тихими мелькающими волнами стены прелестного палаццо; из глубин озера поднимался террасообразный остров засаженный миртами, лаврами, каштановыми и апельсинными

ми деревьями, покрытый портиками, каменными статуями и погруженный в целое море прозрачного света.

— «Isola Bella! Лаго-Маджоре! — сказала Элли. Я ответил лишь: «А!» и пожелал остановиться. Голос певицы явственнее достигал моего уха и производил на меня все большее впечатление. Мне захотелось увидеть в лицо ту, которая очаровала меня столь чудными звуками. Мы были около самого окна.

В середине салона, меблированного в помпейском стиле, и походившего более на помещение древностей, чем на современный салон, — он был наполнен греческими скульптурами, этрусскими вазами, редкими растениями, драгоценными камнями и освещен сверху двумя лампами, заключенными в кристаллические шары — сидела перед пианино молодая женщина. Наклонив голову слегка вперед, полузакрыв глаза, она пела итальянскую песню. Она пела и смеялась; серьезное, даже строгое лицо ее дышало абсолютным душевным спокойствием... Она смеялась однако же и, казалось, Фавн Праксителя, молодой и легкомысленный как и она, тоже смеялся на своем пьедестале.

Под прекрасными апельсиновыми деревьями, она отличалась высшей красотой! Увлеченный ее пением, ее прелестью, охваченный мягкостью речи и этим зрелищем юности, любви и счастья, я совершенно забыл свою воздушную спутницу; я забыл, благодаря какому загадочному приключению я мог проникнуть в тайну столь далекого и столь чуждого существа. Мне хотелось войти и говорить...

Тут тело мое вздрогнуло от стремительного толчка — как будто я прикоснулся к лейденской банке. Лицо Элли, несмотря на прозрачность, потемнело и сделалось грозным. В ее широко раскрытых глазах сверкало выражение гневной злобы.

— «Уйдем», сказала она всплывчиво. И снова ветер, шум и оцепенение... Военный клич легионов заменился последним замиравшим тоном певицы, который долго еще раздавался в моих ушах.

Мы остановились, но этот замиравший, этот последний звук продолжал раздаваться в моих ушах, хотя я уже был в

другом воздухе и дышал испарениями другой земли. Навстречу мне повеяло сильной свежестью, как бы от большой реки и ароматом сена и конопли. Тому звуку, долго еще вибрировавшему в моих ушах последовал другой, затем еще, но столь выразительного характера, с модуляциями, такими знакомыми мне, что я сказал себе: это — русская песня! — И в тот же момент все предметы стали легко различимы.

XV.

Мы находились на берегу величественной реки. Длинные баржи тихо качались на своих якорях. На одной из этих барж раздавалась живая песня и светился маленький огонек, свет которого отражался длинными красными и дрожащими линиями на волнах реки. Повсюду, и на воде, и на земле светились такие огоньки. Были ли они от нас близко или далеко? Глаз не мог с точностью определить этого. То они быстро гасли, то ярким светом прыгали там и сям. Бесчисленные кузнечики щелкали явственно в траве, не тише и не менее усердно, чем лягушки в Понтийских болотах. От времени до времени мне слышались жалобные крики невидимых птиц. Небо было безоблачно, но туманно и темно.

«Мы не в России?» спросил я свою предводительницу.

— «Это Волга!» отвечала она.

Мы полетели вдоль реки.

«Зачем ты так быстро увлекла меня из чудной Италии?» спрашивал я дальше. «Без сомнения тебе что-то не понравилось; ты ревнива?»

Губы Элли задрожали; взор ее стал грозным; но почти сейчас черты приняли обычную неподвижность.

«Я бы хотел домой!» просил я.

— «Подожди! подожди!» ответила она. «Эта ночь — долгая ночь! Она не скоро придет опять... подожди, подожди еще немного».

Скоро мы перелетели Волгу, перерезывая ее в косом направлении. Волны журчали и катились глубоко под нами; леденящий ветер свистел и бил нас своими холодными крыльями. Вскоре правый берег исчез за нами в темноте и мы увидели противоположный крутой берег с его трещинами и расщелинами. Мы приблизились к ним. — «Позови здесь громко: Сарынь на кичку»*, прошептала мне она совсем тихо.

Я еще едва пришел в себя от ужаса, в который привело меня появление римского фантома; я был измучен и подавлен, не знаю, каким неопределенным чувством печали.... короче, мне недоставало мужества. Я не хотел, я не мог выговорить эти роковые слова, будучи убежден, что они подобно «Волчьей долине» в *Волшебном стрелке* непременно вызовут откуда-нибудь ужасное, удивительное явление.

— «Ты увидишь Стеньку Разина!» продолжала она в оживленном тоне.

«Я не могу! Я не хочу!» отвечал я. «Веди меня домой».

— «Слабое сердце», сказала она как бы в презрительном тоне.

«Домой! Домой!»

Я потерял сознание и когда опять очнулся, то находился вместе с Элли на опушке своего леса, недалеко от старого дуба.

— «Видишь ты, вон ту прелестную тропинку?» сказала она мне. «Там внизу, куда падает луч месяца, где качаются две березки? Хочешь, мы будем там?»

Я так был истомлен, что с трудом мог отвечать:

«Домой! Домой!»

«Ты дома», сказала Элли.

Действительно, я стоял перед своей дверью один. Сто-рожевая собака подошла, недоверчиво обнюхала меня и с воем побежала прочь. Я не без усилий бросился на постель и заснул не раздеваясь.

* Клич волжских разбойников (*Прим. из ориг. изд.*).

XVI.

На следующий день я страдал в течение целого утра от мигрени и едва мог сделать то или другое движение; но не это телесное недомогание, главным образом, занимало меня. Я был сердит и недоволен самим собою и своим поведением в прошедшую ночь. «Слабое сердце!» повторил я про себя. «Да, Элли имела право, — чего я испугался? Почему не воспользовался благоприятным случаем? Я лично мог видеть Цезаря, а страх заставил, меня потерять голову; я плакал от страха и дрожал как маленький ребенок перед розгой... Что касается Разина — это другое дело... В своем положении дворянина и помещика... Но все же: к чему страх?... Слабое сердце! Слабое сердце!»

«Не было ли все, что я видел сном?» спросил я себя в заключение. Я позвал свою служанку.

«Марфа! В какое время я вчера лег? Помнишь ты наверно?»

— «Милостивый Боже! кто бы мог тебе сказать это, кормилец? Немножко поздно, думается мне. Как стало темнеть, ты ушел из дому... а в твоей комнате, до полуночи, как будто кто то ходил ощупью... Около утра, да, около утра, да... И так уже три дня... Ты горюешь, кормилец?»

«Хорошо», подумал я, «но эти воздушные полеты, эти воздушные путешествия?... Что может уничтожить мои сомнения?... Марфа!» спросил я «как я сегодня высмотрю?».

— Как ты вымотришь?... прости, я погляжу на тебя... У тебя немного щеки похудели; ты побледнел, нет, пожелтел как воск, кормилец...

Немного взволнованный я отпустил Марфу.

— «Я умру или помешаюсь», сказал я самому себе и задумчиво подошел к окну. «Должен быть конец, это ужасно! Сердце мое все еще бьется. А когда я лечу, мне кажется, как будто кто-то пьет мою кровь... Все это заставляет меня содрогаться!.. А Элли?... Она играет со мной как кошка с мышью. Быть может, у ней в виду имеется коварный замысел против меня... Ага! идет!.. Но пусть это будет в пос-

ледний раз что я ей доверяюсь... Я буду очень внимательным... и!.. Вообще эти быстрые воздушные путешествия должны мне вредить во всяком случае. Говорят, в Англии воспрещено, чтобы поезда ездили с большей быстротой, чем 120 верст в час...»

Так я раздумывал долго. Но в 10 часов я опять был около старого дуба.

Ночь была темна, холодна и печальна; в воздухе чувствовался дождь. К своему великому удивлению я никого не нашел под дубом. Несколько времени я прохаживался взад и вперед; я дошел до леска, вернулся опять назад, стараясь взором проникнуть глубокую темноту... Никого не увидел!.. Я ждал долго, долго; наконец я вскрикнул несколько раз «Элли», все громче и громче, но... напрасно. Я был печален, почти болен. Я уж больше не думал об опасности, которая меня только что так заботила. Мне хотелось лететь, лететь... и я никак не мог представить себе, что Элли не придет.

«Элли! Элли! Иди же!» — «Ты не хочешь прийти?» воскликнул я в последний раз. Ворон, встревоженный моим криком, спустился вдруг с верхушки ближайшего дерева и хлопая крыльями, принялся кружиться около его сучков. Элли не появлялась.

Недовольный, с опущенной головой направился я к дому. Я находился уже на тропинке ведущей к моему дому, огонь, видневшийся из окна моей комнаты, то вспыхивал со всей силой, то исчезал за фруктовыми деревьями, стоявшими перед домом.

Вдруг я почувствовал позади себя нечто вроде содрогания воздуха и тотчас же я был слегка приподнят. Это — Элли. Ее щеки коснулись моих; по телу пробежал мороз; я чувствовал, что ее рука как железной цепью охватила меня. Она заговорила и ее голос, сохранивший все тот же тихий, шепчущий тон, как ледяное дыхание раздался над моим ухом. «Это я!» сказала она. Тотчас же меня охватил страх и ужас. Мы летели на значительном расстоянии от земли.

«Ты не хотела сегодня прийти?» — спросил я ее.

— «Ты сердисься?» было ее ответом. «Значит ты меня

любишь! — О, ты — мой!»

Эти последние слова заставили меня задрожать; я не знал, что мне сказать на это.

— «Меня задержали!» продолжала она. «Они сторожат меня!»

«Кто имеет власть задерживать тебя?»

— «Куда ты хочешь сегодня?» спросила она, по своему обыкновению не отвечая на мой вопрос.

«В Италию, на берег озера... Ты знаешь куда...»

Она закачала многозначительно головой. В это мгновение я впервые увидел, что ее лицо было уже не прозрачно. Я посмотрел в ее глаза и был неприятно поражен ее взглядом.

«Элли!» воскликнул я, «скажи же мне, наконец, кто ты? Пожалуйста! Прощу тебя об этом!»

Она пожала плечами. — Я рассердился и решил дать урок ее ревности. Мне пришло и голову, заставить ее унести меня в Париж; там, думал я, она должна найти повод к ревности.

«Элли», обратился я к ней. — «Ты не чувствуешь страха перед большими городами? Например, перед Парижем?»

— «Нет».

«Нет? Даже и перед такими освещенными местами, как бульвары?»

«Нет, это не дневной свет».

«Хорошо. Тогда води меня на Итальянский бульвар!»

Она прикоснулась кончиками своего широкого рукава до моей головы, и я тотчас окунулся в беловатое облако, пропитанное сильным ароматом. Все на минуту исчезло. Свет, шум и даже сознание... Я едва чувствовал, что живу, и однако это оглушение, этот род мертвого бытия не был неприятен. Вдруг облако рассеялось. Элли взяла прочь свой рукав и я увидел массу построек, какой-то ад, сильное движение... Я был в Париже.

XIX.

Снова Элли набросила свой широкий рукав на мои глаза, снова я потерял сознание; снова облако разделилось.

Что это? Что это за парк с липами и аллеями рассажеными, в форме стен? с его портиками и мавзолеями, веерообразными елками во вкусе Помпадур, с тритонами в стиле рококо, нимфами среди бассейнов и вокруг мраморных балюстрад... Или это — Версаль?... Нет, это не Версаль! Дворец не слишком виден, архитектура, недостаточно изящна... «Мы в Мангейме», сказала Элли. «Это — Шветцингский парк».

«А! мы в Германии», подумал я и стал внимательным. Все было тихо и безмолвно; только одинокий, невидимый ручеек журчал, ниспадая водопадом. В одной из аллей, между двумя лиственными стенами, <я увидел> какого-то дворянина во фраке с галунами, в красных брюках и круглых манжетах, со шпагой, колотившейся об икры; красивую даму в юбке с фижмами; причесанную и напудренную, протягивающую руку с изысканной прелестью... бледные и удивительные фигуры... Мне хотелось посмотреть их поближе, но они тотчас же исчезли и я слышал лишь вечное журчанье и плеск маленького водопада.

«Это — ходячие мечты!» обратилась ко мне Элли. «Вчера можно было бы увидеть кое-что иное — нынешнюю ночь летают даже человеческие мечты... Летим! Летим!»

Мы поднялись и действительно полетели, так что я не ощущал ни малейшего движения. Пред нашими взорами промелькнули темные горы, густо заросший лесок, за ними другие, потом еще... Мы находились в центре Шварцвальда.

Мы летели все дальше и дальше, но все время над горами и лесами, замечательно старыми, величественными лесами. Ночь ясна, я различаю все сорта деревьев и особенно высокие ели и дубы. Развалины башни на вершине обнаженной скалы вырисовывались своими печальными, слоmannыми зубцами. Над древней грудой камней мирно бле-

стела звездочка. С темного маленького озера неся таинственный плач, *lamento* лягушек! Другие звуки пленили мой слух! Они шли издалека, подобно дрожащим звукам эоловой арфы... Мы в мираже легенд.

Воздух свежий и легкий. Я чувствовал себя даже легко и спокойно, но в тоже время был объят необычной грустью.

«Элли!» сказал я. «Ты любишь эту страну?»

— «Я? Я ничего не люблю?»

«Как? И меня тоже?»

«Ах, да, тебя!» — ответила она небрежно.

Мне показалось, что ее рука крепче обхватила меня.

«Вперед! Вперед!» — воскликнула она и мы бурно полетели дальше.

XX.

Недалеко от нас, прямо над нашими головами, неожиданно раздался протяжный крик.

«Это арьергард журавлей, летящих к северу!» — обратилась ко мне Элли. «Хочешь, мы отправимся вслед за ними?»

«Да, полетим с журавлями».

Тринадцать больших птиц прекрасного вида, сгруппированные в виде треугольника, стремительно-быстро летели вперед. Распростирая крылья и выправляя свою сильную грудь, они летели с такой бешеной быстротой, что воздух вокруг них свистел и шумел. Замечательное зрелище; видеть эти сильные и полные энергии существа, эту непреодолимую силу воли на такой высоте, так далеко от всякого человеческого существа!

«Теперь полетим в Россию!» обратилась ко мне Элли. Не первый раз я опять заметил, что Элли угадывала мои мысли, знала мое намерение раньше, чем я его высказывал.

«Или, может быть, ты хочешь что-нибудь другое?» — спросила она.

«Нет!» ответил я. «Я направляюсь из Парижа, веди меня в Петербург!»

— «Теперь?»

«Сейчас. Только накрой меня своим рукавом! Я боюсь ветра!»

Элли протянула свою руку... Но прежде, чем облако окутало меня, я снова почувствовал на своих губах прикосновение сухого жала, тихий укол которого я уже один раз испытал.

XXI.

— «Смотри! Ей-и!..» — этот протяжный крик отдается в моих ушах. «Смотри! Ей-и!..» — отозвалось издали. «Смотри! Ей-и!..» Этот крик раздался как будто бы на краю вселенной. — Я вздрогнул.

Большой золотой шпиг сверкнул перед моими глазами. Я узнал укрепления Петербурга.

Бледная северная ночь!.. Но это тоже ночь? Не день ли это скорее, тусклый и больной? Я никогда не любил петербургских ночей, но на этот раз я прямо-таки испугался. Лицо ее совершенно исчезло, растворилось и расплылось, как настоящее облако под влиянием июльского солнца; и однако свое тело я видел явственно, пока я летел в воздухе на равной высоте с Александровской колонной. — Значит мы — в Петербурге! да, да, это — Петербург; эти пустынные широкие улицы пепельного цвета; эти дома оштукатуренные в беловато-серый, в желтовато-белый и в серовато-лиловый цвета, с их глубокими окнами, с их вывесками и фирмами в кричащих красках, с их железными навесами, балконами. Вот золотой купол Исакиевского собора, вот Нева, которая легко и тихо несет в море свои холодные голубые волны.

— «Летим дальше!» воскликнула Элли с беспокойством.

И не дожидаясь моего ответа она повлекла меня на другую сторону реки, через дворцовую площадь, мимо ли-

тейного завода. Под нами слышны были шаги и голоса, по улице шло общество с оживленными лицами, болтавшее о каком-то курсе танцев. — «Подпоручик Столпаков!» воскликнул вдруг испуганный часовой.

Но дальше я увидел у открытого окна какого-то большого дома, молодую девушку, сидевшую в шелковом платье, с обнаженными руками, с волосами, свободно спрятанными в бисерную сетку и с папирсой во рту. Она задумчиво читала книгу, которая, вероятно была обязана своим появлением перу современного Ювенала.

«Скорей летим дальше!» снова вырвалось у Элли.

В тот же самый момент под нами исчезли маленькие рощи корявых елок и мшистых болот, которыми окружен Петербург. Мы направили свой полет прямо на юг. Небо и земля становились все темнее и темнее. — Болезненная ночь, болезненный день, болезненный город! Мы скоро оставили его позади!

XXII.

Мы летели тише обыкновенного, так что я свободно мог следовать глазами за всеми изменениями, какие только постепенно происходили на моей родной земле. Бесконечная панорама.

Леса, поля, луга, овраги и реки; в больших промежутках церкви и деревни, реже большие местечки и города, а там опять поля, овраги, реки. Я был недоволен, все было для меня безразлично. И если я делался все скучнее и недовольнее, то вовсе не потому, что я летел через Россию. Нет! Вся эта земля, или безгранично-пустынные пространства подо мною, вся окрестность, заселенная народом, задышающим в своих нуждах, страданиях и болезнях на клочке жалкой пыли... эти люди-комары, в тысячу раз ничтожнее, чем даже сами комары, со своими бледными губами, с своим монотонным плачем... А! все это казалось мне ненавистным! — Мое недовольство все увеличивалось

и увеличивалось, мне не хотелось больше видеть перед своими глазами эту ничего не говорящую картину, эту карикатуру. — Все мои чувства сосредоточились в одном чувстве отвращения и, что хуже всего, отвращении к самому себе.

— «Перестань!» шептала Элли. «Перестань, или я не вынесу. С тобой не поладишь!..»

«Домой!» приказал я ей так, как будто имел дело со своим кучером и закрыл глаза.

XXIII.

Я их скоро снова открыл. Элли странным образом прижалась ко мне, как будто она хотела меня задушить. Я посмотрел на нее и кровь у меня застыла. Тот, кто когда-либо нечаянно видел человеческое лицо, выражавшее ужас без видимой причины, тот поймет впечатление, вынесенное мною. Необычайный ужас, нечеловеческий страх написан был на лице Элли. Еще никогда я не видел ничего подобного на человеческом лице... Этот безжизненный фантом, сверхъестественное существо, тень и этот неслыханный неописуемый ужас!..

«Элли, что это? что с тобою?» вскричал я.

— «Он! Он!» ответила она с волнением. «Он!»

«Кто? Он?»

— «Не называй его имени! не произноси его!» лепетала Элли. «Мы должны лететь! Все кончено... и навсегда!.. Посмотри! вон, вон! вон!..»

Я устремил свой взор по направлению, указанному мне дрожащей рукой и различил нечто... нечто действительно ужасное.

Это нечто было тем ужаснее, что не имело никакой определенной форм... Тяжелая, темная масса, желтовато-черного цвета, выпуклая, как брюхо ящерицы. Не облако и не туман. Оно вытягивалось змеинообразно по земле; вдруг появились громадные движения, то вверх, то вниз, словно движение хищной птицы, готовящейся броситься на добычу.

чу. То оно, внезапно, неуклюжим прыжком опускалось на землю, как паук опускается на муху, попавшуюся в его паутину. Кто ты, ужасная масса? При его приближении я увидел и почувствовал — все затихло, все переходило в небытие. Ядовитый холод распространялся повсюду, совсем близко и при ощущении этого холода захватывало сердце, глаза переставали видеть, волосы становились дыбом. Это была сила темная, непреодолимая, которую ничто не в состоянии выдержать, которая, несмотря на свое бытие, все видит, все слышит и которая не упускает уже того, что раз попало в ее власть.

«Элли! Элли!» воскликнул я, охваченный ужасом. «Это — Смерть! Смерть!»

Страдальческий крик, какой я уже раз слышал, сорвался с губ Элли; но на этот раз это был крик отчаяния. Мы ускорили свой полет до невероятной быстроты, но летели зигзагами; Элли металась по воздуху, как зверь, преследуемый охотничьей собакой. Однако от ужасной массы вытянулись нечто вроде бесконечных рук, которые все удлинялись, преследуя нас, устремляя на нас свои пальцы и свои когти... На небе вдруг появился гигантский призрак, скачущий на лошади... Элли удвоила свои отчаянные усилия. — «Он увидел нас! все погибло!... Я погибла!» простонала она. «Ах, я несчастная! Я могла бы!.. Еще, быть может, жизнь была бы моя!.. а теперь! Уничтожена! Разбита!...»

Расслышав эти последние, с трудом произносимые слова, я потерял сознание.

XXIV.

Когда я опять пришел в себя, я лежал ничком на траве, а во всех моих членах я чувствовал боль, как бы от жестокого падения. Заря на небе уже загоралась и предметы становились различимыми. Место было мне знакомо. Я по возможности восстановил в памяти все, что произошло в

эту ночь и задрожал, при воспоминании об ужасном видении. «Но почему?» сказал я самому себе, «почему это видение так испугало Элли?» Неужели она тоже обречена в царство смерти? Может быть она не бессмертна? Как это возможно? Как все это объяснить?»

Возле себя я услышал слабый вздох; я повернул голову. В нескольких шагах от меня лежала молодая, красивая женщина, одетая в длинное, белое платье, неподвижно распростершись на траве. Ее красивые волосы были по плечам распущены и рассыпались. Левая рука лежала под головой, а правая покоилась на груди; глаза были закрыты, а на губах виднелось нечто вроде красноватой тени. Была ли это Элли?... Но Элли была фантом, а передо мною лежала женщина из плоти и крови. — Я подполз к ней и склонившись над ней, сказал: «Элли! Это ты?» Она тотчас же вздрогнула, веки ее открылись и большие черные глаза устремились на меня. Этот взгляд точно пронзил меня. Я чувствовал, как она прижалась своей пылающей грудью к моей груди, в то время как своей рукой она обвила мою шею; в тот же момент я почувствовал на своих губах ее горячие, мягкие, но пахнувшие кровью губы. «Прощай! прощай навеки!» прошептала она умирающим голосом... И все исчезло...

Я поднялся, качаясь как опьяненный, и долгое время искал вокруг себя исчезнувшую, протирая себе руками глаза — наконец я снова очутился на дороге к N... приблизительно две версты от моего дома. Солнце было уже высоко, когда я вошел в свою комнату.

На следующую ночь я ожидал, и, признаюсь, не без страха, появление моего фантома; во он больше не появлялся. Много раз я приходил ночью под старый дуб, но никогда не замечал ничего особенного. Я скучаю об этих свиданиях.

Долгое время я думал о своем приключении; я убеждал самого себя, что наука ничего не могла объяснить и что ни легенды, ни рассказы не передавали ничего подобного... Да, я много думал об этом, и, пусть никто не удивляется этому, до сих пор не подвинулся ни на шаг вперед. Я нико-

гда не мог решиться спросить совета у друзей из страха, что они сочтут меня за сумасшедшего. — Наконец я решил ничего не думать об этом, к тому же у меня было в голове достаточно других дел... С одной стороны я был обязан заниматься хозяйством в качестве помещика, с другой стороны мое здоровье сильно пошатнулось. Я получил тяжелую грудную болезнь, бессонные ночи и сухой кашель. Лицо мое стало бледным, как лицо мертвеца. Доктор уверяет меня, что будто я страшно малокровен; мое болезненное состояние он называет малокровием и посылает меня в Гаштейнг. Управляющий клянется, что без меня он не будет знать, что делать с рабочими. Клянусь! Может он или нет! Что мне за дело!



КОММЕНТАРИИ

Все тексты, за редкими исключениями, подготовлены составителем и публикуются по первоизданиям в новой орфографии; как правило, сохранялась пунктуация оригинала. На фронтисписе — работа Я. Панушки (1872-1958).

В. Олин. Вампир (Рассказ из хроники Саксо-грамматика)

Впервые: *Литературные прибавления к «Русскому инвалиду»* (СПб.). 1833. 5 апр. Публикуется по указанному изд. Пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность А. Степанову за содействие в получении текста произведения.

В. Н. Олин (ок. 1788-1841) — сын тобольского вице-губернатора, писатель, поэт, переводчик, журналист, издатель. Служил чиновником, часто меняя место службы. Издавал *Журнал древней и новой словесности* (1818-19), литературно-критические газеты *Рецензент* (1821) и *Колокольчик* (1831), альманах *Карманная книжка для любителей русской старины и словесности* (1829-1832). Переводил европейских авторов, в том числе Оссиана и А. Ламартина, и римских классиков. Вторую половину жизни провел в крайней нужде.

Уже в 1820-х гг. в стих. Олина появляются мотивы «живого мертвеца»; фантастические повести и рассказы вошли в сб. *Рассказы на станции* (1839); фантастический рассказ *Ужасный сон* был напечатан в *Литературных прибавлениях* вслед за *Вампиром* (1833, 5 мая).

Сюжет *Вампира*, как свидетельствует подзаголовок, заимствован Олиным из кн. V хроники *Gesta Danorum* («Деяния данов») датского историка и теолога Саксона Грамматика (ок. 1140-1206/1220). Олин достаточно точно следует канве рассказа [5.11.1-4], однако вводит сцену похорон героя, опуская кровавые подробности и цветистую поэтическую речь Асмунда, напр.: «Желая растерзать меня своими когтями, Асвит с нечеловеческой силой напал на меня; вернувшись к жизни после того, как был прахом, он начал эту ужасную борьбу со мной. К чему удивляться, видя то,

как сильно я бледен! Ведь ясно, что всякий живой, находясь среди мертвых, становится только слабее. Не знаю, по чьей адовой воле был вызван из мертвых дух Асвита. Сначала своими страшными зубами он растерзал быстрого коня, а затем этими ужасными челюстями расправился со своей собакой. Не довольствуясь их плотью, он устремил свои хищные когти ко мне, оцарапав мою щеку и оторвав ухо. Вот почему мое исцарапанное лицо пугает всех своим видом, а из глубокой раны на голове капает кровь! Однако эта нечисть не осталась без наказания: своим мечом я тут же отсек ему голову, а в его мерзкое тело я вогнал кол»**.

С. Минцлов. Нежить

Публикуется по авторскому сб. *Чернокнижник: (Таинственное)* (Рига: изд. М. Дидковского, 1928).

С. Р. Минцлов (1870-1933) — выдающийся библиофил и библиограф, коллекционер, археолог, автор исторических романов, рассказов (в том числе фантастического и мистического свойства), мемуарной и дневниковой прозы. Умер в эмиграции в Риге.

Рассказ навеян сербскими народными поверьями и впечатлениями от пребывания в Сербии, где Минцлов в 1920-х гг. прожил около трех лет, заведая русской гимназией в г. Нови Сад (в указанный период часть упоминаемой в рассказе и ниже Македонии входила в состав Сербии). Приведем также имеющий отношение к вампиризму отрывок из очерка С. Минцлова *В стране сказки*:

«Жутки глухие сербские кладбища.

Всегда они на вершине уединенной каменистой горы, заросшей лесом, всегда беспризорные, задичалые. Кресты на них редкость. Могила тесно жмется друг к другу; они не высоки, сверху прикрыты серыми плитами; над ними, будто сотни привидений в белых саванах, стоят в сумерках под деревьями другие плиты, как головами увенчанные кружками с крестом. Иные будто ше-

** Саксон Грамматик. Деяния данов. Т. 1: Кн. I-X. Пер. с дат. и комм. А. С. Досаева. М., 2017. С. 184 (здесь дан прозаический перевод).

велятся: это тихо колышутся вылинявшие цветные и белые флаги на шестах, воткнутых на могилах недавно умерших, на них лежат фрукты, куски хлеба и мясо в глиняных мисочках — приношение мертвым.

Некоторые из них встают по ночам из своих могил и бродят, ловя запоздалых путников по дорогам и вокруг сел, чтобы насосаться крови: это вурдалаки или упыри... легендами и верой в них особенно полны горы Македонии и Далмации.

В селах и городах, всюду на стенах домов и белых мазанок с обычными здесь галерейками на деревянных колонках, висят венки из особых трав и ветвей — это охрана от вурдалаков.

Пятнадцатый век смотрит из этих венков...»*

С. 15. ...комитов — В Древнем Риме, а затем Византии комиты — гражданские и военные должностные лица.

А. Рославлев. Дровосек

Публикуется по первому изд.: *Всемирная панорама* (СПб.). 1912. № 149, 24 февр.

А. С. Рославлев (1883-1920) — поэт, прозаик, публицист, автор более двух десятков кн. (среди которых романы, сб. рассказов, поэтические сб.) и многочисленных публикаций в периодике. После революции вступил в РКП (б), редактировал в Новороссийске газ. *Красное Черноморье* и основал Театр политической сатиры. Скончался от тифа в Краснодаре.

Обстоятельства смерти героя рассказа А. Рославлева близко напоминают традиционные европейские истории о последних минутах магов и колдунов, связавшихся с нечистой силой — включая доктора Фауста. Здесь собравшиеся точно так же слышат в соседней комнате адский шум, боясь войти и поутру обнаруживают в комнате части тела (в впервые изданной в 1587 г. *Истории о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике* И. Шписа это — мозг, глаза и несколько зубов). В данном случае,

* Сегодня (Рига). 1928. № 307, 11 нояб. С. 9.

однако, однако, невольный пакт заключается с вампироподобным персонажем.

Нечистый (Упырь)

Впервые в вып. VI сб. А. Н. Афанасьева *Народные русские сказки* (М.: в тип. Грачева и комп., 1842) под № 66 и названием *Нечистый*; в более поздних изд. под названием *Упырь* (№ 206), в современных изд. под № 343. Публикуется по первому изд.

Приводим примечание Афанасьева:

«В хоруганских приповедках Валявца (стр. 236-240) и в чешских песнях Эрбена (стр. 471) встречаем рассказ, послуживший темою для известной баллады Бюргера “Ленора”, в литовских сказках Шлейхера (стр. 34) есть рассказ о том, как две девицы танцевали с своими женихами-покойниками; но более всего народная память сохраняет предания о кровожадных упырях: это злобные мертвецы, которые выходят по ночам из своих могил и умерщвляют живых людей, особенно детей, высасывая из них кровь. Раскапывая могилу упыря, его находят с свежим румянцем на щеках и с запекшеюся на устах кровью. В Тамбовских Губерн. Ведомостях 1857 г. (№ 4) сообщен следующий рассказ. “Ехал мужпк по полю мимо кладбища, а уж стемнело. Нагоняет его незнакомый в хорошем полушубке и в красной рубахе: «Остановись! — говорит, — Возьми меня в попутчики». — «Изволь, садись!» Приезжают они в село, подходят к тому, к другому дому; хоть ворота и настежь, а незнакомый говорит: «Заперто!» Вншь, на тех-то воротах были кресты выжжены. Подходят к крайнему дому, ворота па запоре, и замок в полпуда висит; но креста нету — и ворота сами собою отворилися. Вошли в избу; там на лавке, сидят двое: старик да молодой парень. Незнакомый взял ведро, поставил позади парня, ударил его по спине — и тотчас полилась из него алая кровь; нацедил полное ведро крови и выпил. То же самое сделал он и со стариком, и говорит мужику: «Уж светает! пойдем-ка теперь ко мне». В один миг очутились они на кладбище. Упырь обхватил было мужика руками, да на счастье петухи запели — и мертвец сгинул. Наутро смотрят: и молодой парень и старик — оба померли; тотчас разыскали могилу, разрыли — а

упырь весь в крови лежит, взяли осиновый кол да и всадили в него». По другому рассказу мертвец вынимает два пузырька, ранил шилом руки жениха и невесты и точит из них горячую кровь. На Украине простой народ верит, что упыри гонятся по ночам за путниками с громким криком: “Ой, мяса хочу! ой, мяса хочу!” (См. Lud Ukrainski, II, стр. 56-57.) Эта ненасытная жажда человеческого мяса и крови сближает упырей с ведьмами и бабой-ягой, которым общее поверье приписывает пожирание детей. О колдунах существует убеждение, что их земля не принимает, и потому по смерти они блуждают по свету, творя разные пакости крещеному люду; в напечатанных нами рассказах умершие колдуны являлись в деревни, морят и поедают живых людей. Словенцы и кашубы называют упырей *вещими*. По их поверьям, зарытый в могиле упырь начинает грызть себе руки и тело, и покуда он грызет — один за другим заболевают и умирают все его родственники. После того он встает ночью из гроба, взбирается на колокольню и принимается звонить; кто услышит этот звон, тот непременно умрет. Чтобы избавиться от его смертоносной силы, надо раскопать могилу, в которой лежит “вещий”, и перерубить ему горло лопатой (Этнограф, сборн., вып. V, статья Гильфердинга, стр. 69-70, 133). У нас с этою целью вбивают в спину мертвеца или в его могилу осиновый кол. Судя по характеру рассказа, помещенного в нашем сборнике под № 206, должно думать, что в нем под именем “нечистого” выведен собственно упырь; сходный с этим рассказом есть у хорутан и словаков (см. Narodne pripow., стр. 237-9; Nёмес, стр. 29)*.

Данная сказка послужила источником опубликованного ниже рассказа В. Даля, а также поэмы *Молодец* М. Цветаевой (опубл. 1924). Интерпретация Цветаевой весьма любопытна; в статье *Поэт о критике* (1926) она писала:

«Я прочла у Афанасьева сказку “Упырь” и задумалась, почему Маруся, боявшаяся упыря, так упорно не сознавалась в его виденном, зная, что назвать — спастись? Почему вместо да — нет? Страх? Но ведь от страха не только забираются в постель — и в окно выбрасываются. Нет, не страх. Пусть — и страх, но еще что-то. Страх

* Цит. по: Русские народные сказки А. Н. Афанасьева. Под ред. А. Е. Грузинского. <...> Изд. четвертое в пяти т. М.: тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913-1914. Т. 5. С. 30-31.

и что? Когда мне говорят: сделай то-то и ты свободна, и я того-то не делаю, значит, я не очень хочу свободы, значит, мне несвобода — дороже. А что такое дорогая несвобода между людьми? Любовь. Маруся упыря любила, и потому не называла, и теряла, раз за разом, мать — брата — жизнь. Страсть и преступление, страсть и жертва...»

В. Даль. Упырь

Публикуется по изд.: *Сочинения В. И. Даля. Повести и рассказы. Т. VIII. Посмертное полное изд.* СПб; М.: М. О. Вольф, 1884.

Со времен О. Сомова и Н. Гоголя вампирические, ведовские, демонологические и т.п. мотивы начинают прочно ассоциироваться с Украиной. Лексикограф, писатель и фольклорист В. И. Даль (1801-1872) — уроженец Луганского завода из обрусевших датчан, выступавший в печати под псевд. «Казак Луганский», конечно, не мог пройти мимо этого обстоятельства. Соответственно, обрабатывая сказку из сб. Афанасьева, Даль локализует ее как «украинское предание».

А. Ремизов. Упырь

Сказки замечательного мастера слова А. М. Ремизова (1877-1957), собранные в книги *Посолонь* (1907), шестой том *Сочинений* в изд. «Шиповник» (1912) и *Докука и балагурье* (1914), содержат широкий спектр вампирических тем и мотивов, хотя лишь одна из них (*Упырь*) подчеркнуто связана с вампирической тематикой. Здесь и блуждающие мертвецы, и оживающие мертвые возлюбленные, и функционально вампирические существа (колдунья из сказки *Поперечная*; мертвец из одноименной сказки и пр.).

В кн. *Докука и балагурье* вошли обработки подлинных народных сказок, сделанные в 1905-12 гг. и публиковавшиеся в эти годы в периодике. Ремизов аккуратно указал в книге источники сказок; одним из основных таких источников послужил для него сб. *Северные сказки: Архангельская и Олонецкая гг. Сборник Н. Е. Ончукова* (СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1908), вышедший как т.

XXXIII *Записок императорского Русского географического общества по отделению этнографии*. Ниже нами использованы некоторые примечания И. Ф. Даниловой к т. 2 *Собрания сочинений А. Ремизова* (М.: Русская книга, 2000).

Сказка *Упырь* была впервые опубликована в журн. *Всеобщий ежемесячник*. 1911. № 1 и позднее вошла в авторский цикл *Змеиными тропами*. Публикуется по изд.: Ремизов А. *Сочинения*. Т. 6: *Сказки*. СПб.: Шиповник, б. г. [вышло в свет в феврале 1912].

Приводим авторские примечания из указанного изд.:

«*Упырь* — см. Живую Старину, 1897 г. Вып. 1 (Статья *Юлиана Яворского*).

Народные поверья дают следующее объяснение происхождения Упырей: если беременная женщина посмотрит в церкви во время Великого выхода на священника, несущего чашу, то ее дитя будет упырем. Упырь по смерти своей между полночью и первым петухом выходит из могилы и ходит к тем, кто ему люб, и высасывает у них кровь или заманивает их в могилу и там это делает. Для ограждения от Упыря откапывают его гроб, отрезают ему голову и кладут ее между ногами трупа, прибивают голову или сердце осиновым колом или железным гвоздем ко дну, и тогда Упырь не может тронуться из могилы.

Выриш-птицы — весенние птицы. Вырей, Ирей — сказочная страна, где нет зимы.

Ир — весна. В *Поучении* Владимира Мономаха: «И сему ся подивуемы, како птицы небесныя из ирья идут».

А. Ремизов. Суженая

Впервые: *Скэтинг-ринк*. 1910. № 2. Публикуется по изд.: Ремизов А. *Докука и балагурье: Народные сказки*. СПб.: Сирин, 1914.

Источником Ремизова послужила сказка *Жена из могилы* (Ончуков, № 120). Однако эта сказка лишь варьирует древнейший сюжет о возвращении мертвой возлюбленной и эротичес-

ком единении с нею, известный, к примеру, по *Удивительным историям* римского вольноотпущенника II в. н. э. Флегонта (Флегона) из Тралл. Именно изложенная у Флегонта история подсказала Гете сюжет написанной в 1797 г. *Коринфской невесты*. Умершая и оживающая Филиннион у Флегонта, этот безобидный реванант, умирает вновь по причине излишнего любопытства родителей. У Гете безымянная дева по смерти становится вампиром: она умерщвляет жениха («Я нашла того, кого любила, / И его я высосала кровь! / И, покончив с ним, / Я пойду к другим, — / Я должна идти за жизнью вновь!», пер. А. К. Толстого) и молит об огненным освобождении от вампирской доли и блаженстве с любимым: «Свободи меня из заточенья / Мир в огне дай любящим сердцам!»). Ремизов, вероятно, рассчитывал на знание читателем баллады Гете и предусматривал двусмысленный эффект своей «счастливой» концовки.

С. 47. ...на Кузьму-Демьяна — Церковный праздник свв. бесребреников Космы и Дамиана, отмечается 1 июля (ст. ст.).

С. 48. Красная горка — первое воскресенье после Великого поста; с этого дня разрешается совершать браковенчание.

А. Ремизов. Робкая

Впервые: *Северные записки*. 1913. № 2. Публикуется по изд.: Ремизов А. Докука и балагурье: Народные сказки. СПб.: Сирин, 1914.

Сказка вошла в цикл *Русские женщины*. Источник: Ончуков, № 289 (*Покойный дружок*).

С. 50. ...в заболь — по-настоящему, на самом деле.

А. Ремизов. Поперечная

Впервые: *Русская молва*. 1913. № 123. Публикуется по: Ремизов А. Докука и балагурье: Народные сказки. СПб.: Сирин, 1914.

Сказка вошла в цикл *Русские женщины*. Источник: Ончуков, № 247 (*Жена колдунья*).

А. Ремизов. Мертвец

Публикуется по изд.: Ремизов А. *Докука и балагурье: Народные сказки*. СПб.: Сирин, 1914.

Сказка вошла в цикл *Хозяева*. Источник: Васильев А. Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева. № 1 («Народ живущий грех обманывать, а мертвый важнее ешшо») // Живая старина. 1911. Вып. I.

(N. N.) Колдун-мертвец-убийца

Впервые: *Молва*. 1832. № 1. 1 янв. Публикуется по: *Чудо рождественской ночи: Святочные рассказы*. СПб.: Художественная литература, 1993.

Как указывают со ссылкой на словарь псевдонимов И. Ф. Масанова составители сб. *Чудо рождественской ночи* Х. Баран и Е. Душечкина, автором этого рассказа мог быть Н. И. Надеждин, издатель *Молвы* М. Н. Погодин либо С. П. Завадский. Образ осаждаемой нечистью церкви см. позднее в *Вие* Н. Гоголя.

Г. Данилевский. Мертвец-убийца

Публикуется по: *Сочинения Г. П. Данилевского*. Т. 19. СПб.: А. Ф. Маркс, 1901.

Мертвец-убийца русско-украинского беллетриста, помощника редактора, а затем и главного редактора *Правительственного вестника* Г. П. Данилевского (1829-1890) вошел в его цикл «Святочные вечера». Сюжет заимствован из опубликованного выше

рассказа *Колдун-мертвец-убийца*. Однако Данилевский вводит важные изменения: умерший крестьянин идентифицируется как «знахарь и *упырь*»; вампирические черты приданы и убийце: если автор рассказа *Колдун-мертвец-убийца* еще колеблется в описании способа убийства («загрыз <...> зарезал и истерзал»), у Данилевского определенно сказано, что дьякон *загрыз* священника. Таким образом, рассказ Данилевского примыкает и к вампирической литературной традиции, и к развитому жанру «святочного рассказа». Как в рассказе-претексте «Колдун-мертвец-убийца», соблюдены все каноны жанра: чертовщина разоблачена, зло наказано, мораль и добродетель торжествуют.

В число действующих лиц Данилевский вводит Екатерину II и С. Шешковского и уделяет значительное место детективной составляющей (расследование с переодеванием). Подобное сочетание вампирических и детективных мотивов стало впоследствии характерным признаком многих произведений вампирической литературы: ведь и *Дракулу* Б. Стокера можно рассматривать как детективный триллер.

Идея расследования «вампирского» нападения по личному приказу Екатерины II, возможно, была подсказана Данилевскому историческим прецедентом. В 1755 г. императрица Мария Терезия направила двух придворных медиков расследовать случай вампиризма в Гермерсдорфе, где в декабре 1754 г. скончалась некая Розина Полакин. Как уверяли жители города, она превратилась в вампира, выбиралась из могилы и нападала на них. По решению городских властей, тело женщины было эксгумировано, а затем обезглавлено и сожжено. Ознакомившись с докладом следователей-медиков, главный придворный врач и ближайший советник императрицы Г. ван Свитен (1700-1772) написал сочинение *Замечания о вампиризме*, где заклеил веру в вампиров как суеверие «варварских и невежественных» народов. Расследование это заставило Марию Терезию выпустить особый рескрипт, запрещающий эксгумацию трупов предполагаемых вампиров и издевательства над ними; вампиры объявлялись в документе фантомами воображения.

С. 70. ...*Вяземского* — Речь идет о кн. А. А. Вяземском (1727-1793), генерал-прокуроре Сената, пользовавшемся большим доверием Екатерины II.

С. 70. ...*Степана Иваныча Шешковского* — С. И. Шешковский (1727-1794) — секретарь Тайной канцелярии, позднее глава тайной

экспедиции, обер-секретарь Сената; при Екатерине вел розыски по важнейшим делам и заработал репутацию ловкого сыщика; отличался садизмом и не гнушался пытками.

С. 72. ...*скуфейку* — Скуфья — остроконечная мягкая шапка черного или фиолетового цвета у православного духовенства, монашествующих и т. д.

С. 72. ...*бедную свою кису* — т. е. кисет, кошель.

Р... Упырь на Фуриштатской улице

Впервые: *Библиотека для чтения*. 1857. Т. 142, март-апр. Публикуется по указанному изд.

Упырь на Фуриштатской улице: (Быль XIX века), одно из центральных произведений русской вампирической литературы XIX столетия, оставался неизвестен большинству современных читателей и исследователей вплоть до публикации нашей антологии *Упырь на Фуриштатской* (Salamandra P.V.V., 2013). Имя создателя новеллы было означено в оригинальной публикации только как «Р...»; установить его нам пока не удалось — даже такой авторитетный источник, как дополненный словарь псевдонимов И. Ф. Масанова, хранит по этому поводу молчание.

Уже само заглавие соотносит новеллу с *Упырем* А. К. Толстого (опубликованным в 1841 г. под псевдонимом «Краснорогский»). Совпадает и ряд деталей: рассказчик видит на балу молодую девушку, которой угрожает вампирическая смерть. Примечательны «немецкие» мотивы новеллы, явно идущие от Гоголя. Анна описывается как «девушка-выродок» (курсив автора), «не русская и не немка»; она читает Сведенборга и *немецкий* перевод *Вампира*. Не что иное, как податливость в отношении «немецких» — читай, мистических и романтических — влияний, противопоставленных в речах доктора Ивана Петровича французскому рационализму — и делает ее жертвой «вампиризма», т. е. душевной болезни.

Но безумие ли это? От лица Ивана Петровича, военного медика, автор выдвигает, похоже, естественнонаучное, психологическое объяснение случая с Анной: тоска по убитому жениху, чтение вампирической и эзотерической (Сведенборг) литерату-

ры и случайно нанесенная самой себе во сне ранка вызывают «локальное помешательство». Однако страхи Ивана Петровича и зажженные им свечи заставляют подозревать иное: вопреки рассудку, доктор поверил в пришествие убитого жениха-вампира. Доказательством этого служит подчеркнутое в финале число свечей – если раньше число их точно не указывается («6 или 7 свечей, вдобавок к прежде горевшим двум»), в последней фразе новеллы их оказывается ровно «девять», что составляет важный нумерологический символ в расхожем оккультизме.

В новелле, наряду с давним мотивом явления мертвого жениха или невесты, мы имеем уже дело с, так сказать, «классическим» литературным вампиром-кровососом.

С. 79. ...*sensorium* — здесь: органы чувств (лат.).

С. 79. ...«*Chlorosis*» — хлорозис (лат. от греч. *chloros*, зеленый, бледный), также «девичья немочь», хроническая анемия, встречающаяся у молодых девушек и вызываемая недостатком железа и белков, что придает коже зеленоватый оттенок.

С. 82. *Artista del bisturi* — Художник скальпеля (ит.).

С. 82. ...каффарниумовидный — от *cafarnium*, здесь: беспорядок, хаотическое скопление предметов.

С. 83. ...Пинель (*Pinell*) — правильней *Pinel*; французский врач-психиатр Ф. Пинель (1745-1826), один из основателей современной научной психиатрии; выступал за гуманное обращение с душевнобольными.

С. 83. ...*Condillac, u Condorcet, u Dallembert, и Diderot, u Voltaire* — Перечислены французские писатели, философы и ученые Э. де Кондильяк (1715-1780), М. Ж. Кондорсе (1743-1794), Ж. д'Аламбер (1717-1783), Д. Дидро (1713-1784), Вольтер (1694-1778).

С. 83. ...*comment vous portez vous* — здесь: «все это так, между прочим» (фр.).

С. 83. ...*Ambroise Paré do Bichat u Шомеля* — Имеются в виду знаменитый французский хирург и патолог А. Паре (1510-1590), выдающийся анатом М. Биша (1771-1802) и терапевт и патолог О. Шомель (1788-1859).

С. 85. *Attendez...* — Погодите, постойте (фр.).

С. 85. ...*Эскироль* — также Ж. Э. Эскироль (1772-1840), видный французский психиатр-реформатор, классификатор душевных заболеваний.

С. 89. ...*les mariages mixtes* — смешанные браки (фр.).

С. 90. *Шведенборг* — Э. Сведенборг (1688-1772), шведский ученый, теолог, виднейший эзотерический философ-визионер.

С. 96. ...«*Er is da*» — «Он здесь» (нем.).

С. 97. «*Er is da — immer da*» — «Он здесь — все время здесь» (нем.).

Е. Нагродская. Материнская любовь

Впервые: *Синий журнал*. 1914. № 1. Публикуется по указанному изд., откуда взяты и илл.

Е. А. Нагродская (урожд. Головачева, 1866-1930) — писательница, поэтесса, автор детективных, любовных и мистико-фантастических романов, рассказов. До революции прославилась романом *Гнев Диониса* (1910), воспринятым как эротический. Интересовалась мистикой, спиритизмом, в эмиграции была активна в масонских ложах; наиболее значительное произведение эмигрантского периода — трилогия *Река времен* (1924-26).

Материнская любовь — рассказ ужасов, замаскированный под святочную историю, с довольно необычной для 1910-х гг. фигурой ребенка-вампира. Судя по высказыванию кучера, подразумевается дитя обычной женщины и вампира, т. е. «старого барона» — или, как выразились бы авторы сегодняшней вампирической литературы, «дампир». Описание этого существа вызывает в памяти современного читателя образы из многочисленных и много более поздних фильмов ужасов и вызывает к визуальному, если не экранному воплощению (отметим, что Нагродская испытывала в годы написания рассказа большой интерес к кинематографу). Нельзя исключать, что образ «дитя-вампира» был подсказан Нагродской описанием К. Бальмон-

та в статье А. Белого *Бальмонт (1904-08)*: «Вампир с широко оттопыренными губами, с залитой кровью бородкой, и нежное дитя, ликом склоненное в цветущие травы <...> широкополая серая шляпа, жалко висящее пальто, в котором дитя-вампир шествует по Арбату <...>»^{*}.

Тэффи. Вурдалак

Публикуется по: Тэффи Н. А. *Собрание сочинений. Т. 2: Неживой зверь*. М.: Лаком, 1997.

Н. А. Тэффи (Лохвицкая, в замуж. Бучинская, 1872-1952) — прозаик, поэтесса, драматург, звезда русской дореволюционной и эмигрантской юмористики; впрочем, в эмиграции раскрылись и многие другие грани ее таланта.

Рассказ *Вурдалак* вошел в авторский сб. *Ведьма (1936)*, который Тэффи считала своей лучшей книгой. По ее словам, «в этой книге наши древние славянские боги, как они живут еще в народной душе, в преданиях, суевериях, обычаях. Все, как встречалось мне в русской провинции, в детстве... Эту книгу очень хвалили Бунин, Куприн и Мережковский, хвалили в смысле отличного языка и художественности. Я, между прочим, горжусь своим языком, который наша критика мало отмечала, выделяя “очень комплиментарно” малоценное в моих произведениях»^{**}.

Гордилась писательница и высокой оценкой, которую получил рассказ от Д. Мережковского: «Самая большая радость моя в жизни была, когда Мережковский сказал про мой рассказ “Вурдалак” — “Какой язык! Лесковский язык! Упиваюсь”»^{***}. Любопытно, что именно этот рассказ дал название франц. пер. *Ведьмы* Тэффи: *Teffi N. Vourdalak: Le Vampire*. Liège: Maréchal, 1946.

Описание ребенка-вампира у Тэффи отчетливо соотносено с приведенным выше рассказом Е. Нагродской *Материнская любовь (1914)*: у обоих детей тонкие «паучьи» конечности, раздутые части тела (живот, голова), тяжелые «виевские» веки или

^{*} Белый А. Бальмонт // Белый А. Луг зеленый: Книга статей. М.: Альциона, 1910. С. 212-213. Курсив наш.

^{**} Тэффи о себе // Возрождение. 1957. № 70. С. 32.

^{***} Русская мысль. 1952. 15 окт.

ресницы, кровавого окраса губы или волосы.

Вампирические и ведовские темы нередко встречаются в стихах старшей сестры Тэффи — поэтессы Мирры Лохвицкой (М. А. Лохвицкой, по мужу Жибер, 1869-1905).

А. Ремизов. Жертва

Впервые: *Весы*. 1909. № 1, янв. Публикуется по указанному изд.

Готовя позднее рассказ к публикации в 1-м томе *Сочинений* (СПб.: Сирин, 1910-1912), Ремизов произвел некоторую (и не всегда удачную) стилистическую правку. Сухотины стали Бородиными, Лида — Лизой, было введено более реалистическое объяснение смерти Миши (лошадь выбросила из саней), вместо набивки папирос для отца и молчащих, незаведенных часов в тексте появился «уход за цветами» и вопящий от голода попугай (в журн. версии, соответственно, Зина перед смертью пишет не слово «попугай», а зловещую букву «б») и т.д. Однако в предпоследнем абзаце Ремизов усилил мотив *мертвости* Сухотина-Бородина: «И в ту же минуту огонь, распахнув пламенем дверь спальни, красным глазом кольнул мать, и обомлевшую дочь, и *мертвую голову мертвого отца* и, бросившись языками под потолок, развеелся красным петухом».

Ремизовский неупокойный мертвец давно и безнадежно мертв; заполучив в свой мир троих из четверых детей («Все потерялись — Миша, Лида, Зина и Соня, и все нашлись»), он совершает отчаянную попытку завладеть и младшей дочерью («одной Сони нет»), нарушая тем самым жертвенный уговор (отсюда пожар).

«Жертва» очень сильная, жуткая вещь, — замечал А. Амфитеатров. — Написав ее, Ремизов имеет право отзываться о «Песни торжествующей любви» <Тургенева> свысока, что это «только беллетристика», в которой «нет ощущения кадавра, нет колдовства», потому что в его-то рассказе этих ощущений — до жуткости. И все поразительно, — сказал бы, — «живо», если бы речь шла не о мертвечине: невероятное правдоподобие в правдоподобном невероятии»*.

* Амфитеатров А. О сновидениях // Сегодня (Рига). 1930. № 282, 12 окт. Амфитеатров цитирует статью Ремизова «Тридцать снов Тургенева»

Н. Мельгунов. Кто же он?

Впервые: Телескоп. 1831. Ч. 3. № 10-12. Публикуется по изд.: [Мельгунов Н.]. Рассказы о былом и небывалом. I: (с виньетой). М., 1834. Илл. взяты из указанного книжного издания.

Н. А. Мельгунов (1804-1867) — прозаик, публицист, литературный и музыкальный критик, композитор. Происходил из старинного дворянского рода. Служил по министерству иностранных дел, титулярный советник (1832). В 1820-30-х гг. держал известный в Москве лит.-музыкальный салон («мельгуновские четверги»). В 1835 г. уехал лечиться в Германию, с тех пор жил попеременно в России и Европе, знакомя европейцев с русской культурой. В 1850-х гг. сотрудничал в герценовских изданиях. Умер в бедности и болезнях в Москве.

Дебютное произведение Н. Мельгунова *Кто же он?* — это прежде всего изящная литературная игра, в рамках которой события и герои повести проецируются на *Горе от ума* А. С. Грибоедова. Комедия оставалась в то время неизданной и распространялась в списках; первые «полные» постановки (с цензурными изъятиями) состоялись лишь в год публикации повести, чем и объясняется настороженное отношение консервативного окружения Линдиных к «вольнодумной» пьесе.

Исследователи отмечают в дебютной повести Н. Мельгунова влияние знаменитого *Мельмота-скитальца* (1820) Ч. Р. Метьюрина — «иррациональное, мистическое получает реалистическую мотивацию, иногда окрашенную авторской иронией»*. Но похоже, что ирония распространяется и на объяснение «ужасного» и «сверхъестественного», объяснение рационалистическое, но нарочито несуразное — недаром вопрос о сущности Вашиада (ловкий мошенник, «злой дух, привидение, вампир, Мефистофель или все вместе?») остается открытым.

С. 142. *Is not this... it?* — «Пожалуй, это не одна фантазия? / Что скажешь ты?» (Шекспир, *Гамлет*, пер. М. Лозинского).

(впервые: Воля России. 1930. № 7/8).

* Евсеева М. К. Мельгунов Николай Александрович // Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 572.

С. 141. ...*Гюллен и Ришард* — Имеются в виду французские артисты балета Фелисите-Виржини (Фелицата Ивановна) Гюллен-Сор (1805-после 1850) и Жозеф Ришар (1788-1867); прибыв из Парижа в 1823 г., они на протяжении последующих десятилетий в качестве балетмейстеров внесли заметный вклад в развитие русского балета.

С. 142. ...*А. С. Хомякову* — А. С. Хомяков (1804-1860) — поэт, философ, богослов, один из основоположников славянофильства.

С. 146. ... *comment va-t-il?* — Здесь: «что насчет ее?» (*фр.*).

С. 147. ...*mon amour*— любовь моя (*фр.*).

С. 148. ...*mon ami* — друг мой (*фр.*).

С. 149. ...*humus* — земля (*лат.*), здесь: плодородная почва.

С. 149. ...*Демидова* — Имеется в виду граф П. Н. Демидов (1798-1840), прославившийся как крупнейший меценат и благотворитель.

С. 150. *Амуры и Зефиры все...* — Здесь и далее стихотворные цитаты из «Горя от ума».

С. 160. *Tant pis pour... piquant* — Тем хуже для них... это было бы даже довольно пикантно (*фр.*).

С. 161. *Bien dit...* — хорошо сказано (*фр.*).

С. 166. ...*долбней* — Долбня — деревянный молот, колотушка.

С. 174. ...*Гаррика* — Речь идет об английском актере, драматурге и многолетнем директоре театра «Друри Лейн» Д. Гаррике (1717-1779), одном из самых влиятельных театральных деятелей XVIII в.

С. 177. ...*скрипач Буше... двойника своему герою* — Французский скрипач А. Буше (1778-1861), широко гастролировавший по Европе, был действительно известен своим большим сходством с Наполеоном.

С. 178. *Под шляпой, с пасмурным челом...* — Описание статуэтки Наполеона в гл. VII *Евгения Онегина*.

«Э. Золя». Вампир

Публикуется по первоизд.: Золя <sic> Э. Вампир: Рассказ. Пер. Д. Борзаковского. М.: Театр. известия, 1899. Сбой в нумерации главок присутствует в оригинале.

Читатель, надо полагать, распознал в этой курьезной литературной мистификации *Призраков* И. С. Тургенева, впервые опубликованных в 1864 г. в сдвоенном № 1-2 журн. братьев М. М. и Ф. М. Достоевских *Эпоха*. Вероятно, переводчик Д. Борзаковский воспользовался французским переводом П. Мериме, напечатанным в журн. *Revue des Deux Mondes* (1866. 15 июня) — неточности в этом переводе, как известно, вынудили Тургенева внести в него большое количество исправлений перед публикацией в сб. *Nouvelles moscovites* (1869). Получившийся обратный перевод, разумеется, весьма далек от оригинала.

О личности мистификатора (если только эта явно коммерческая мистификация была задумана самим переводчиком) известно мало. На рубеже веков Д. Борзаковский переводил с нескольких европейских языков (произведения Э. Золя, А. Доде, М. Нордау, *Так говорил Заратустра* Ф. Ницше) и выступал как компилятор (*Франк-масонство и тайные общества древнего и нового мира: Сост. по Ф. Клавелю и др.*, 1900). Очевидно, его можно отождествить с Д. А. Борзаковским, выпустившим в 1898-99 гг. в «Библиотеке Брокер и К°» книжечку рассказов *Ложь* и рассказ *Роковая охота*. Как бы то ни было, мистификатор должен был хорошо сознавать популярность *Дракулы* Б. Стокера и неизбежность возникновения «вампирской волны» в России.

Что же касается собственно *Призраков*, то принадлежность их к вампирической линии несомненна. Как указывал еще Л. Пумпянский в статье «Группа “таинственных повестей”»*, «Эллис из другого мира вторгается вампиром в жизнь героя <...> “Призраки” относятся (как частично и “Клара Милич”) к категории

* Пумпянский Л. В. Группа «таинственных повестей» // Тургенев И. С. Сочинения. М.; Л., 1929. Т. 8. С. V-XX.

“вампирических” новелл (“у вас являющееся существо объяснено как упырь”, пишет Тургеневу Достоевский 23 декабря 1863 г.; физиологические подробности производят неприятное впечатление: «я успел почувствовать на губах моих прикосновение того мягкого тупого жала... незлые пиявки так берутся... доктор уверяет, что у меня крови мало, называет мою болезнь греческим именем анэмией...”). Между тем была эпоха, когда “вампирическая” литература свирепствовала в авангарде всей англо-французской “неистой словесности” (la littérature frenetique). В 1820-е годы, вслед за “Вампиром” псевдо-Байрона, разлилось наводнение вампирической беллетристики всех видов. Она, правда, скоро отшумела, но несомненные нити тянутся от нее и к Э. По и к позднейшей беллетристике европейской. В каком отношении находятся “Призраки” ко всему этому литературному потоку? Наша литературная наука должна во всей серьезности поставить вопрос о творческих отношениях Тургенева, уже 1850-х и 60-х гг., к Э. По, а наряду с этим к раннему французскому декадентству (Бодлер прочитал Э. По уже в 1846 г.) и английскому прерафаэлитизму (к которому, по-видимому, восходит фигура Эллис). Когда совершился в европейской литературе перелом от вампиризма мужского (каким он был в “неистой словесности”) к женскому (каким он чаще всего является у Э. По и всегда у Тургенева)? Тут нужно компаратистское обследование всего этого процесса, частью которого являются “Призраки”».

Вопрос исследователя совершенно неправомерен: достаточно вспомнить, что у истоков европейского литературного вампиризма стояли женские образы (та же *Ленора* Бюргера и *Коринфская невеста* Гете); женский вампиризм русских подражательных баллад 1810-1820-х гг., а также ведьмы-вампиры «малороссийских» фантазий О. Сомова и Н. Гоголя, во многом определили и русскую вампирическую традицию.

В заключение отметим, что в финале новеллы Тургенева сохранено указание на Эллис как *вампира*; вместе с тем, присутствует и амбивалентность, усиливающая эффект «ужасного», «таинственного» и «необъяснимого»:

«Что такое Эллис в самом деле? Привидение, скитающаяся душа, злой дух, сильфида, вампир, наконец?»

Похоже, здесь Тургенев прямо цитирует *Кто же он?* Н. Мельгунова:

«Кто же этот Вашиадан? — злой дух, привидение, вампир, Мефистофель или все вместе?»

В создании этой эффектной неясности, туманной зыбкости, наряду со смутными установками самого автора*, решающую роль сыграло упомянутое выше письмо Достоевского, заметившего: «Если что в “Призраках” и можно бы покритиковать, так это то, что они *не совсем вполне* фантастичны. Еще бы больше надо. Тогда бы *смелости* больше было. У Вас являющееся существо объяснено как упырь. По-моему бы не надо этого объяснения». В конечном итоге Тургенев исключил из рукописи фрагмент с более конкретными указаниями на вампирическую природу Эллис:

«— Ревность! — воскликнул я. — Но что значит твоя любовь? — И притом ты меня обманула: ты хотела предсказать мне мою судьбу.

— Я сказала: может быть.

— Разве это не от тебя зависит? Ты мне не отвечаешь? Это несносно! И я опять-таки повторяю: как можешь ты, без тела, без крови, любить меня?

— У *тебя* есть кровь, — промолвила моя спутница, и мне показалось, что она улыбнулась.

Сердце во мне ёкнуло. Рассказы об упырях, о вампирах пришли мне на ум. “Неужели я во власти подобного существа?..”»

С. 187. ...*острова Вайт* — т. е. остров Уайт (Isle of Wight), расположен у побережья Англии в проливе Ла-Манш. Тургенев жил на этом острове в 1860 г.

С. 190. *Понтийские болота* — обширная болотистая местность в Лацио к юго-востоку от Рима. Частично осушена в 1930-х гг.

С. 191. *Divus Cajus Julius Caesar!* — Божественный Кай Юлий Цезарь! (*лат.*).

С. 192. *Caesar, Caesar venit!* — Цезарь, Цезарь идет! (*лат.*).

* В письме к Боткину от 26 нояб. (8 дек.) 1863 г. Тургенев говорил о «размытых образах»: «Тут нет решительно никакой аллегии, я так же мало сам понимаю Эллис, как и ты. Это ряд каких-то душевных dissolving views, вызванных переходным и действительно тяжелым и темным состоянием моего Я».

С. 193. *Isola Bella! Лаго-Маджоре!* — т. е. остров Изола Белла на озере Лаго-Маджоре.

С. 195. ...подобно «Волчьей долине» в Волшебном стрелке — «Волшебный стрелок» (в оригинале «Вольный стрелок») — опера К. М. фон Фебера по либретто Ф. Кинда, считается первой немецкой романтической оперой (премьера состоялась в 1821 г.). Волчья долина или Волчье ущелье в опере — место обитания злых духов.

С. 200. ...*lamento* — жалоба, стенание (*ит.*, *фр.*).



Оглавление

<i>От составителя</i>	6
В. Олин. Вампир	12
С. Минцлов. Нежить	15
А. Рославлев. Дровосек	22
Нечистый (Упырь)	25
В. Даль. Упырь	30
А. Ремизов. Упырь	43
А. Ремизов. Суженая	47
А. Ремизов. Робкая	50
А. Ремизов. Поперечная	53
А. Ремизов. Мертвец	59
Н. Н. Колдун-мертвец-убийца	63
Г. Данилевский. Мертвец-убийца	68
Р... Упырь на Фурштатской улице	76
Е. Нагродская. Материнская любовь	99

Тэффи. Вурдалак	110
А. Ремизов. Жертва	122
Н. Мелыунов. Кто же он?	138
«Э. Золя». Вампир	177
Комментарии	207

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.